

## Лекция 9

Авторы: Анатолий Козлович, Стадс Теркел

### ПУБЛИЦИСТИКА БУДУЩЕГО

Будущих журналистов и всех, кто откроет мою книгу, прошу прочитать выдающееся произведение Стадса Теркела, которое я предлагаю вам как образец качественной публицистики. Вы испытаете эстетические наслаждения, узнаете о жизни нечто глубинное и универсальное, свойственное людям всех культур и формаций, в том числе и вам.

Свой магнитофон чикагский журналист Стадс Теркел использует превосходно. Книга принадлежит его таланту так «разговорить» собеседников, что получаются не стандартные, мертвые интервью — произведения стандартных, безжизненных журналистов, а свободные внутренние монологи, раскрывающие личность, исповеди. Собеседники Теркела сами удивлены, откуда это на них нахлынуло. Перед микрофоном они вдруг ищут и находят, формулируют себя.

Беседы журналиста С.Теркела с неизвестными, ничем не прославившимися, простыми людьми, не похожи на привычные для сегодняшней журналистики прибаутки, чернуху, скандал, одиозность. В своих книгах автор внешне невидим, он прячет свое присутствие, чтобы не загораживать своих героев, как это часто делает, например, Светлана Алексиевич, озабоченная политической конъюнктурой.

Как отмечает известный журналист-международник С.Кондрашов, по качеству интервью-исповедей, по степени самораскрытия персонажей и интонациям их живого разговора догадываешься о мастерстве журналиста Теркела. В его интервью вовлечены огромный труд и опыт, умение располагать к себе людей, направлять и прояснять их «потoki сознания». В итоге — богатство психологических деталей, которое обычно свойственно хорошим художественным произведениям.

Хочу верить, что в будущем журналисты и читатели, уставшие от агрессивной и поверхностной сенсационности, вернуться к человеку, в глубины реальной, настоящей жизни. В этом — будущее публицистики. Без этого она умрет.

Извините за опечатки в тексте, которые допустил несовершенный сканер.

На моих занятиях студенты обычно читали интервью Теркела вслух перед аудиторией.

Анатолий Козлович

## СТАДС ТЁРКЕЛ РАБОТА

**Люди рассказывают, чем они занимаются весь день  
и что об этом думают.**

**Отрывки из книги  
Перевод с английского И. ГУРОВОЙ и Н. ТОЛКУНОВОЙ**

Роберто Акунья

Вот уже два года, как я оставил работу в поле. Я понял, что в Калифорнии царит настоящий феодализм и с ним пора покончить. Надо изменить жизнь сельскохозяйственных рабочих и показать этим огромным монополиям, что они еще не самые главные в мире. Сейчас мне 34. Я агитирую людей вступать в профсоюз сельскохозяйственных рабочих США.

Его руки в мозолях, ногти на больших пальцах изуродованы. «Когда собираешь латук, с больших пальцев сходят ногти, ведь они все время задевают за край ящика. Руки распухают. А темп замедлить нельзя — десятник видит, что ты отстал от других на несколько ящиков, так что лучше уж не останавливаться. Но люди помогают друг другу. Если тебе сегодня совсем худо, тебе поможет тот, у кого дело спорится. Всем, кому туго приходится, надо держаться вместе, нравится им это или нет, будь у них кожа черная, желтая или белая».

Мать рассказывала, что я родился прямо в поле, на мешке из рогожи, потому что у нее не было денег пойти в больницу. Когда я был маленьким, мы все Бремя переезжали то из Калифорнии в Аризону, то из Аризоны в Калифорнию. То, что я видел, определило мою жизнь. Помню, как мы всей семьей собирали морковь и лук. Мы буквально вырывали из земли средства для существования. Я видел, как родители плакали в отчаянье, хотя работала вся наша семья. Взрослым тогда платили по 62,5 цента в час. В год это выходило по 1500, ну, от силы 2000 долларов<sup>1</sup>.

Еще кое-что добавлял к семейному доходу детский труд. В те годы фермеры проводили традиционную неделю под девизом «Собери свой урожай». В страдную пору спи брали из школы детей сезонных рабочих, чтобы те собирали урожай. А когда ребенок возвращался в школу, ему давали маленькую золотую звездочку, вроде бы за исполнение гражданского долга.

Мы собирали все: латук, морковь, лук, огурцы, цветную капусту, помидоры — ну, просто на любой салат. Апельсины, лимоны, арбузы — Есего не перечислишь. Месяца четыре мы проводили в Салинасе, оттуда ехали работать в Импириал Велли, потом — на сбор цитрусовых. Это был замкнутый круг — мы все время торопились к новому сезону уборки.

После смерти отца мать, закончив работу, обычно шла в свою палатку, а я в другую, для нас, детей. Бывало, мы все перессоримся и бежим в палатку к

---

<sup>1</sup> Теперь мы добились повышения платы до двух долларов в час. Но и этого, конечно, недостаточно.

маме и видим, что она плачет. Когда я ее спрашивал, почему она плачет, она ничего не отвечала, говорила только, что скоро все изменится к лучшему. Матери крепко досталось от жизни, но она никогда не утрачивала чувства собственного достоинства. А лучшие времена, про которые она говорила, так для нее и не наступили.

«Одно время, когда матери очень нужны были деньги, она устроилась работать вечером в ресторане. Я ей помогал. Фермеры, которые туда заходили, отпускали грязные шуточки и приставали к ней. Я, понятно, за нее заступался, но мать говорила, чтоб я не связывался, что она сама может с ними справиться. Но они ее до слез доводили своими приставаниями.

Моя мать была очень гордой женщиной. Она нас всех одна вырастила и поставила на ноги и помощи ни у кого не просила. И всегда мать старалась укрепить нашу семью. Вот говорят, что семья, которая вместе молится,— это крепкая семья. А я считаю, что крепкая семья — это та, где все вместе работают. Из-за трудностей, которые они делают. Моя мать не очень-то грамотно говорила по-английски, да и по-испански тоже. Она была совсем необразованной, но она знала несколько молитв и заставила нас их выучить. Я тут вот что скажу. Как поглядишь, что делается в стране, да и во всем мире, так просто бы сровнял все церкви с землей. Я что-то ни разу не видел, чтобы священник вышел с нами в поле, чтоб он старался помочь людям. Может, теперь они это и делают. Но церковь обычно только забирает, а не дает. Однажды нас попросили в церкви принести овощи для благотворительного базара. Мы принесли, но купить их могли только богатые, одни они неплохо провели время..»

В школу я ходил босиком. Белые ребята насмехались над нами. Они смеялись над маисовыми лепешками, которые мы приносили на завтрак. У них-то завтрак был в специальных аккуратных коробочках и холодное молоко в термосе, а у нас — только сухие маисовые лепешки. Над нами не просто смеялись, нас всегда задирали. Мой старший брат заступался за нас всех и частенько являлся домой с подбитым глазом.

Хуже всего, когда приходилось жить на пособие — до чего же это унижает достоинство человека. Нам выдавали консервы с этикеткой: «Собственность государства. Без права продажи и обмена», А ведь совсем по-другому себя чувствуешь, если можешь сам, на свои деньги купить такие же консервы.

«Я хотел стать в школе своим. Было это в шестом классе. К 4 июля<sup>2</sup> решили поставить патриотическую пьесу и пробовали ребят на разные роли. Я хотел, чтобы мне дали роль Линкольна, и на зубок выучил геттисбергскую речь. Я учил ее, пока работал в поле. Из всех ребят я один не читал роль по книжке, я ее наизусть знал. А роль отдали дочке фермера. Она тоже читала по книжке, но сказали, что у нее дикция лучше. Я очень расстроился. В восьмом классе я ушел из школы.

Если со мной кто заговаривал о политике или о гражданских правах, я делал вид, что не слышу. Это так унижительно, когда не можешь выразить свои мысли. В школе от нас требовали, чтобы мы Говорили по-английски, а это стоило нам огромных трудов, Я то и дело ввязывался в драки из-за того,

---

<sup>2</sup> День независимости США (прим. ред.).

что говорил по-испански, а ребята не понимали. Меня наказывали — оставляли а школе после уроков за то, что я не хотел говорить по-английски».

Мы возли с собой свои собственные палатки. У большинства рабочих не было палаток, и они жили в тех, которые компания заранее ставила для них на полях, А у нас, ребят, была своя палатка, подержанная, правда, но зато своя собственная. Белые смеялись над нами. «Смотрите, ряженные едут»,— говорили они. Одежда у нас всегда была грязной. А как мы могли держать что-нибудь в Частоте, когда мы все время колесили по пыльным проселочным дорогам. Ну, и старались держаться подалеже от города.

Я не любил ездить в город, потому что это всегда сулило одни неприятности. Мы обычно заходили в маленькие лавчонки, хотя с нас там сдирали дороже. А в хороших магазинах над нами смеялись, на нас показывали пальцем. Чтобы купить необходимое, мы ездили в город примерно раз в две недели. Всегда старались держаться вместе, боялись ходить поодиночке. (Смеется.) Мы подшучивали над своей бедностью. Кто-нибудь говорил: «Вот разбогатею, женюсь на белой, чтобы меня приняли в их обществе». А другой парень отвечал ему: «А я как разбогатею, женюсь на мексиканке и пойду в это твое общество посмотреть, как тебя повесят за то, что ты женился на белой». Вся наша жизнь сосредоточивалась вокруг работы на полях.

Я начал работать в поле, когда мне было восемь лет. Помощи от меня тогда было мало, но далее это имело значение для семьи. Всякий раз, когда я отставал, родители швыряли в меня морковкой. А я мечтал: вот, думаю, стать бы миллионером, скупить все эти ранчо и отдать их людям. Я представлял себе, что маме не придется больше ездить с места на место, а живет она все время в одном и том же доме и все соседи очень ее любят. А меня тут — хлоп морковкой по спине. Ну уж какие тогда мечты. А потом поработаешь и снова начинаешь что-нибудь придумывать.

Мы выходили в поле рано, около четырех утра, и работали до шести. Потом — скорей домой, чтобы переодеться з чистое и бежать в школу, потому что боялись опоздать. Бежали во всю прыть. В класс входили совсем выдохшимися. В одиннадцать мы уже клевали носом. Учителя посылали домой записки, жаловались маме, что мы невнимательны на уроках. Единственный предмет, по которому я успевал, было правописание. Мы часто не выполняли домашних заданий, потому что работали. А учителям этого было не понять, ну, и мне иногда здорово влетало.

Занятия в школе кончались около четырех, Опять мы бежали домой, передевались и работали до семи, а то и и до половины восьмого. Это в будни, а в субботу и воскресенье мы оставались в поле с четырех тридцати утра и до семи тридцати вечера. Вот когда мы действительно зарабатывали деньги. Мы все работали.

Я подносил матери ящики, чтобы она складывала туда морковь. Я выдергивал морковь из земли, а она сортировала ее по величине. Я приносил ей попить. А когда мы собирали помидоры, ящики были очень тяжелыми, фунтов тридцать каждый. Эти ящики должны быть очень крепкими, чтобы не разбиться, когда их швыряют на грузовик.

Но самое трудное — это пропальывать и окучивать овощи, особенно если у мотыги короткая ручка. Поле — длиной около полумили. Цельый день не

разгибаеть спины. А уж когда земля попадаеть твердая, так приходишь домой, а все руки в водырях и спину страшно ломит. Иногда мне даже не до еды было, так уставал. Валился на постель и засыпал как убитый. А тут опять вставай — и в поле.

Помню, как мы приехали из Аризоны в Калифорнию на сбор моркови. В поле было очень холодно и ветрено, а у нас в палатке на четверых ребят — одно ветхое одеяльце. Мы промерзали до костей. Тогда я утащил у хозяина два новехоньких одеяла. Как только мы ими укрылись, нам сразу стало так хорошо и уютно. Но меня кто-то заметил. На следующее утро хозяин сказал матери, что он нас выгонит, если мы не отдадим ему одеяла, и чтоб они были совсем чистые, И вот моя мать, младший братишка и я пошли на реку, нарезали веток с кустов, разожгли костер и согрели воду. Мать тщательно выстирала одеяла, высушила их, прогладила и отдала назад хозяину. А нам задала хорошую взбучку.

Вспоминается мне один рабочий лагерь, находившийся в ведении городских властей. Строили-то его в расчете на немецких военнопленных, а потом селили там семейных рабочих. Вокруг лагеря была колючая проволока. Не вернешься в лагерь до десяти вечера — пиши пропало, раньше четырех утра туда уже не попадешь. Мы не знали этих правил, никто нам о них не сказал. Мы поехали в гости к родственникам и вернулись около половины одиннадцатого. Нас ее впустили, и нам пришлось спать прямо в машине за забором. Попали мы, наконец, в лагерь только утром, перекусили на скорую руку и пошли в поле работать<sup>3</sup>.

Хозяин специально селил семьи отдельно, в расчете, что они будут ссориться. У него было не то три, не то четыре рабочих лагеря, и он старался натравить людей из разных лагерей друг на друга. Лучшие участки для работы он давал самым быстрым. Так, внося в работу дух конкуренции, он выжимал из нас все, что только было можно.

Когда мне было шестнадцать лет, я стал десятником. У меня под началом были брасерос — рабочие из Мексики. Их привозили работать на сезон и отправляли обратно в Мексику, когда сезон заканчивался. Я должен был следить, чтобы они хорошо работали, и подгонять их — я представлял интересы компании, Моим родителям нужны были деньги, и я хотел, чтобы они гордились мной. Десятник — это все-таки уже что-то. Каким же я был тогда наивным! Хотя я и подгонял рабочих, их заботы были мне близки и понятны. Они не умели писать, и я писал за них письма. Я ездил с ними в город, чтобы помочь им купить одежду не в лавках компании. Мне платили тогда доллар десять центов в час. Зарплата обычного рабочего к этому времени поднялась до 82,5 цента в час. Но даже брасерос зарабатывали больше, чем я, потому что работали сдельно. Я попросил прибавки. Хозяин сказал: «Не нравится тебе здесь, так можешь поискать другое место». Я ушел от него и поступил в морскую пехоту.

«Мне тогда было семнадцать. В голове у меня был полный сумбур. Я хотел стать образцовым гражданином, полноправным членом общества и гордился своей формой. Я был несовершеннолетним, и моя мать сперва не хотела

---

<sup>3</sup> Теперь мы добились, чтобы этот лагерь снесли. На его месте начали строить дома.

подписывать своего согласия, а потом рассудила, что мне нужно думать о будущем и что на службе у меня есть шанс получить образование.

Я очень для этого постарался. Мне удалось сдать экзамен для поступления на государственную гражданскую службу, и я был счастлив — ведь почти все остальные были ребята, закончившие колледж. В группе из шестидесяти человек было только три чиканос. Я получил должность надзирателя в тюрьме штата, но уволился после восьми месяцев работы; потому что то, с чем мне пришлось столкнуться, было непереносимым. От меня требовали, чтобы я дубинкой усмирял заключенных, главным образом чиканос и черных. А я не мог этого делать. Меня называли сопляком, потому что я не хотел никого бить, начали ко мне придирааться. Я ушел, но не из-за того, что боялся, а просто не хотел озвереть, как другие. Это была тюрьма Соледад».

Я начал понимать, что все в мире устроено несправедливо. Фермеры проводят воду для орошения своих полей, но почему-то не могут провести ее в дома рабочих. Ветеринары заботятся о домашнем скоте, а медицинской помощи для рабочих не существует и в помине. Для фермеров есть субсидии, а рабочим платят гроши. К нам относились просто как к рабочему скоту. Да нет, со скотиной и то обращались лучше. Для скота были просторные теплые стойла, а рабочие жили в полуразрушенных холодных бараках.

Процент заболеваний среди людей, работающих на полях, на 120% выше, чем среди занятых в промышленности. Это в основном радикулит, артрит, ревматизм, возникающие из-за холода и сырости. Когда во время работы постоянно приходится нагибаться — это тоже даром не проходит. Высок процент заболевания туберкулезом. А теперь, из-за распространения ядохимикатов, участились и заболевания дыхательных путей.

Калифорнийский университет в Девисе проводит федеральные эксперименты с химическими удобрениями и ядохимикатами, чтобы повышать урожайность из года в год, а вот о мерах предосторожности и не думают. Не то в 64-м, не то в 65-м году был такой случай. Самолет распылял химические удобрения. Он летел низко, и его колеса зацепились за проволочную ограду поля. Пилот вышел, отряхнулся и выпил воды. Он умер в конвульсиях. У санитаров, которые забрали его, началась рвота — у него вся одежда была пропитана ядовитыми веществами. В другой раз маленькая девочка играла недалеко от распылителя. Она широко разинула рот — и умерла почти мгновенно.

Ядохимикаты проникают в легкие сельскохозяйственных рабочих. Они постоянно дышат отравляющими веществами, но никакой компенсации им за это не выплачивается. Случаи заболеваний не расследуются, лишь устанавливается сам факт заболевания.

Временами я: чувствовал, что больше этого не вынесу. Было сорок градусов в тени. Перед собой я видел лишь бесконечные ряды латука, страшно ныла спина. Казалось, все, мне больше отсюда не выбраться. Я готов был броситься на десятника, если он косо на меня посматривал. Но еще два года назад мой кругозор был очень ограничен.

Мне приходилось читать в газетах о Сесаре Чавесе, но я осуждал его, потому что все еще мечтал стать образцовым гражданином. В Мехикали мне давали их листовки, а я их выбрасывал. Я никогда ни в чем таком не участвовал. Бойкот, объявленный сборщиками винограда, меня не касался, я

в ту пору собирал латук. А потом Чавес приехал в Салинас, где я работал, и вот тогда я понял, что это необыкновенный человек. Я пошел на митинг, где он выступал, но я все еще хотел работать для компании. Но, как бы это сказать,— я был близок к остальным рабочим. Они не знали английского и хотели, чтобы я от их имени говорил о готовящейся забастовке. Не знаю даже, как это вышло, но я как-то сразу проникся великим чувством солидарности.

В четыре утра можно было видеть пикетчиков, разогревающих на лагерных кострах бобы, кофе и лепешки. Я ощущал себя среди них своим. Близкие, родные мне люди, которые хотят изменить жизнь. Я понял — вот то, к чему я всегда стремился, просто раньше я этого как-то не осознавал.

Заветным желанием матери было, чтобы я чего-то добился в жизни. И я хотел добиться успеха — из-за нее. Но когда начались забастовки, я сказал ей, что вступаю в профсоюз. Я присоединяюсь к движению, сказал я ей, и буду работать бесплатно. Мать ответила, что гордится мной. (Его глаза блестят. Долгая, долгая пауза.) Понимаете, я объяснил ей, что хочу быть вместе со своими товарищами. Если я буду на стороне компании, от меня все отвернутся. Я должен был сделать выбор, и я нашел свое место. «Когда ты был мальчиком, я внушала тебе, что ты должен выйти в люди, сделать карьеру,— сказала мать.— Но теперь я вижу, что это не главное. Я знаю, что буду гордиться тобой».

Сельскохозяйственные рабочие — это люди всех национальностей, не только чика-нос. Забастовку начали филиппинцы. Но с нами были и пуэрториканцы, и жители Аппалачей, арабы, японцы, китайцы. Раньше хозяева настраивали нас друг против друга. Теперь у них это не выходит, и это их пугает. Фермеры имеют право объединяться в союзы. А когда мы создаем свою организацию для улучшения наших жизненных условий, они боятся. Пока Сесар Чавес не объяснил сельскохозяйственным рабочим этого, они и не мечтали о том, что можно жить иначе. Зато теперь они это хорошо усвоили — вот что больше всего пугает хозяев.

Сейчас повсюду все больше применяют машины. Для того чтобы на них работать, нужна определенная квалификация. Но научить можно любого. Надо дать шанс и сезонным рабочим. Есть машины для уборки винограда, есть для латука. Машины для уборки хлопка отнимают работу у тысяч людей. Люди оседают в городских гетто, лишены привычного образа жизни, былой общности, семьи.

В контрактах мы стараемся специально оговорить, что хозяева не имеют права вводить какую бы то ни было технику без согласия рабочих. Мы должны быть уверены — если людей заменяют машинами, люди будут обучены работать на этих машинах.

Работа в поле — в ней ничего унижительного нет. Конечно, это тяжелый труд, но гедь его можно облегчить. Будь у нас твердо установленные часы работы, достаточная заработная плата, пособия по безработице и по болезни, пенсии — насколько бы лучше нам жилось. Беда в том, что хозяева не считают нас людьми, отсюда и все остальное. Мы для них просто безмозглые скоты. Теперь-то мы поняли, что это у них нет мозгов, у них в голове одна мошна с деньгами. Потрясешь ее хорошенько, тут-то они и поднимают вой.

Если бы мы получали достаточно, нам бы не приходилось работать по семнадцать часов в день и все время переезжать с места на место. Мы смогли

бы обосноваться где-нибудь, пустить корни. Когда все время колесишь по стране, семья распадается. Залезаешь в долги, уезжаешь всегда без гроша в кармане. А хуже всего от этого детям. Три месяца они ходят в школу в одном месте, три месяца в другом. Только успевают завести друзей, опять приходится уезжать. Они, в сущности, лишены детства и, когда вырастают, всю жизнь стараются себе его возместить.

Если бы только все люди могли увидеть поля зимой. Земля покрыта льдом. Мы работаем, целыми днями стоя на коленях. Мы разжигаем костры, наскоро пытаемся отогреться и опять идем в поле. Или собираем дыни при сорокаградусной жаре. Когда люди едят дыни, морковь или латук, откуда им знать, как все это попало к ним на стол и чего нам это стоило. Будь у меня довольно денег, я бы возил людей на экскурсии на поля и в лагеря для рабочих. Тогда бы каждый знал, откуда у него на столе этот прекрасный салат.

### Эзер Лэмб

Почти два года она работает телефонисткой на междугородной станции. Неподалеку расположена военно-морская база. В период школьных занятий она работает три ночи в неделю и полные сорок часов летом. Ей скоро исполнится восемнадцать лет.

Очень странное ощущение. Сидишь в помещении величиной со спортивный зал и разговариваешь с людьми через расстояние в тысячи миль. В течение часа твой голос услышат по меньшей мере тридцать пять человек. Но сказать им что-нибудь свое нельзя. Они тебя не знают и никогда не увидят. И кажется, будто теряешь людей. Словно они опустили монету в автомат, и он выбросил им тебя. Ты выполняешь то, что обязана, и исчезаешь. Сама ты словно в стороне.

Многие девушки в настоящей своей жизни очень застенчивы. Пока они на работе, все хорошо, но если им надо поговорить с человеком лицом к лицу, они теряются и не знают, что сказать. Они смущаются от того, что на них смотрят. А у коммутатора ты словно в маске.

Есть шесть-семь фраз, которыми мы пользуемся: «Доброе утро, чем я могу вам помочь?», «Добрый день», «Добрый вечер», «Какой номер вам нужен?», «Повторите, будьте добры», «Вас вызывает такой-то или такой-то. Будете оплачивать?», «Это обойдется в доллар двадцать центов». Вот и все, что нам положено говорить.

Самое главное — не вступать в разговоры с клиентом. Если он расстроен, можно сказать только: «Мне очень жаль, что у вас неприятности», но больше — ни-ни. Если тебя поймают за разговором с клиентом, тебе ставят минус. А ведь если у человека беда или просто плохое настроение, очень хочется что-то ему сказать. Меня так и тянет спросить: «Что с вами?» И нисколько не чувствуешь, что в самом деле кому-то помогаешь.

Вот, например, человек звонит из Вьетнама, а его номер занят и прервать нельзя. И одному богу известно, когда он сумеет позвонить еще раз. И знаешь, что ему тоскливо, что он бы рад поговорить хоть с кем-нибудь, а ты на линии, но тебе нельзя. Человеку плохо, а ты ничего сделать не можешь. И, когда



только начинала работать, спросила у диспетчера, а она говорит: «Ничего, позвонит еще раз».

Один человек попросил: «Что-то мне тоскливо, поговорите со мной, хорошо?» А я ответила: «Простите, никак не могу». Но ведь правда же не могу. (Смеется.) Люди общаются с моей помощью, а не со мной.

Я тут проработала почти два года, а кого из девушек я знаю по имени? Только фамилии, потому что они написаны на наушниках. Видишь их каждый день, а как их зовут, не знаешь. Это называют коллективной работой, а ты даже не знаешь имен тех, с кем работаешь.

Как-то неловко, встретив девушку со станции, говорить: «Привет, Джонс!» Очень неловко. Сидишь в кафетерии, разговариваешь и не знаешь, как их зовут. (Смеется.) Я так неделю поговорила, а потом начала подходить к ним и спрашивать: «Как вас зовут?» (Смеется.)

У нас у каждой свой номер. Мой номер — четыреста семь. Номер ставят на твоих карточках, и, если допустишь какую-нибудь ошибку, сразу видно, кто виноват. Ты всего лишь инструмент. Твое дело — набирать номер. Ну, и сама ты — номер.

Девушки сидят бок о бок. Между мной и соседкой и пятнадцати сантиметров не будет. Ну, и толкаемся все время локтями, особенно если она левша. Вот почему зимой у нас у всех насморк не проходит — из-за тесноты. Стоит одной чихнуть, и завтра все чихают. Насморк ведь очень заразный.

Ногти приходится подстригать очень коротко. Они ломаются. Включаешь — и нет ногтя. Причесываешься тоже просто. Зачесывать волосы вверх никак нельзя. Если сделаешь прическу, то хоть на работу не выходи — наушники все сомнут.

Руки еще не очень устают, а вот губы! Устаешь говорить, как ни странно. Ведь говоришь-то шесть часов без передышки.

Половика телефонов теперь новой системы и дают разные гудки в зависимости от того, какую монету опустить: двадцать пять центов — три гудка, десять центов — два гудка, пять центов — один гудок. Если человек торопится, он бросает монеты одну за другой, и все гудки перепутываются. (Смеется.) Так что не сосчитать, сколько монет брошено. Совсем запутываешься.

Заказ мы записываем на компьютерной карточке. Их обрабатывает особая машина. Мы пишем особыми карандашами, чтобы компьютер мог прочесть номер. Карандаши такие мягкие, что к концу смены и стол весь грязный, и сама ты не лучше. (Смеется.) А иногда спина разбалывается потому что стул не отрегулирован и приходится нагибаться, когда пишешь. И все время надо следить за вызовами. Ведь заказы выполняются не по одному, а вместе.

И еще часы. Стоят перед тобой и отмечают каждую секунду. Когда лампочка гаснет, значит, там сняли трубку и надо записать час, минуту и секунду. Ну, хорошо, запишешь и вложишь карточку в специальную щель рядом с лампочкой. Молено заняться другим заказом. А за первым все равно следишь. Лампочка загорится — значит, абонент кончил говорить, и надо вынуть карточку, чтобы опять пометить час, минуту и секунду, а сама без

задержки продолжаешь принимать другие заказы. Такая карусель, что вздохнуть некогда.

В дневную смену разговоры больше короткие, и тут только успевай записывать номер кредитной карточки одного абонента и получать деньги с другого. Этому нужно продлить время, тот ждет, чтобы его соединили. Иной раз такая получается пуганица! Все просто выходят из себя. И уж совсем плохо, когда люди злятся и бормочут в трубку.

Бизнесменов всегда очень раздражает, если просишь их повторить номер кредитной карточки. Иногда они говорят с тобой и одновременно с кем-то еще, и ты слушаешь и ждешь, когда же он назовет номер. Думаешь, он с тобой говорит, а он это не тебе, и он сразу раздражается. Мы очень чувствительны к тону голоса. Иногда просто из себя выходишь. С какой стати он на тебя кричит? И такое у тебя чувство, что тобой помыкают.

А иногда ощущаешь свою власть. Это я вам говорю, чтобы вы кончали разговор. И платить вы должны мне. Если не заплатите, я могу устроить вам неприятности. Особенно это чувствуешь, когда говоришь с людьми, которые платят за вызов наличными, вот как матросы на базе. А с бизнесменами ощущаешь свою полную беспомощность. Он может тебя в порошок стереть. У тебя есть власть только над теми, кто победнее. У таких даже нет собственного телефона, а потому они не могут жаловаться. А бизнесмен напишет письмо в управление. Я куда терпимее отношусь к людям, которые звонят из автомата и у которых мало денег. Но уж бизнесмена я заставляю оплачивать каждую секунду разговора. (Смеется.) Тут я сильнее его.

Я считаю, что плата за телефонные разговоры слишком высока. Если прямо набирать, это дешево. Но если человек беден и у него нет собственного телефона, так что он звонит из автомата, то ему такой звонок обходится жутко дорого. Бедняков просто грабят.

Если хочешь, то нетрудно устроить так, чтобы тебя куда-нибудь пригласили. Меня приглашали сотни раз. (Смеется.) Всегда можно сказать что-нибудь такое, особенно поздно вечером, когда у тебя от скуки скулы сводит. Я умею говорить так, словно я с Юга, и еще с пуэрториканским акцентом. А еще можно придать голосу страстность — просто чтобы посмотреть, как это подействует... Нет, нет, я таких приглашений не принимаю. (Смеется.) Как-то не вдохновляет...

Бывает так: человек позвонит и скажет, что оплатят разговор те. Звонишь им, а они говорят, что не знают такого. С телефонисток за это не взыскивают, но все равно за нами следят. Сколько заказов ты приняла, как заполняешь карточки, сколько ошибок делаешь. Тебя все время дергают.

Если день не задался и у тебя на душе скверно, это сказывается на том, как разговариваешь с абонентами. Ну, зато выпадают и веселые дни. Я не во всем придерживаюсь правил. И люблю пошутить. Особенно в ночную смену. Иногда такие остроумные абоненты попадают, что хохочешь прямо до слез. (Смеется.)

Подслушиваю ли я разговоры? (Понижает голос.) Некоторые девушки этим постоянно занимаются. А меня никогда не тянет подключиться. Сама не знаю почему. Компания у нас такая, что с тебя все время глаз не спускают. Старшая телефонистка то и дело тебя слушает. Ей только кнопку стоит нажать

на специальной консоли. Ну, чтобы проверить, достаточно ли я вежливо говорю, не болтаю ли с абонентами, точно ли высчитываю плату и не звоню ли своим знакомым. Компания слушает. А ты об этом и не подозреваешь. Вот почему лучше все-таки почаще придерживаться правил. Не попадаться.

Подслушивать нам не предлагают. Ведь это значит пойти наперекор всему, что они же нам вдалбливали: тайна телефонных переговоров, охрана прав абонента и все такое прочее. Но я бы все равно отказалась. Пусть сами этим занимаются.

Остаются работать телефонистками женщины постарше. Молодые девушки тут обычно не задерживаются. Девушки терпеливее женщин в годах. Я как-то сидела рядом с такой. Ее абонент положил трубку, а она пыталась получить с него деньги. И давай орать: «Эй, возьмите трубку, вы со мной не рассчитались!» И с такой злобой! Если бы я себе такое позволила, старшая на меня накричала бы. Но эта телефонистка проработала тут двадцать лет. Таким многое спускается. А голоса почти у всех у них просто жуткие. Но ведь, с другой-то стороны, попробуйте проработать тут двадцать лет и двадцать лет повторять одно и то же! Разве можно их осуждать? За двадцать лет нетрудно соз-сем очерстветь.

Как-то тяжело, когда все торопятся поговорить с кем-то, но только не с тобой. А ведь иногда и тебе до того бывает нужно с кем-то поговорить! С таким человеком, который готов тебя послушать, а не зарычит: «Почему вы меня неправильно соединили?»

И до чего приятно, когда кто-нибудь скажет: «Хорошая стоит погода. А как вы нынче, очень заняты? Тяжелый выдался день?» Таковую испытываешь к нему благодарность! И отвечаешь: «Да, очень тяжелый был день. Спасибо, что поинтересовались»,

## Рип Терн

Он приехал в большой город из маленького городка в восточном Техасе. Из-за независимой манеры держаться, непонятной тем, кто нанимает актеров, его объявили «ершистым». Хотя у него, как актера, репутация прекрасная, как человек он не устраивает многих продюсеров и рекламодателей.

«У меня есть недостатки характера. То, что называется эмоциональностью. Я легко сержусь. Легко огорчаюсь. Вот я и решил, что как актеру мне все это будет только на руку. В театре мои слабости обернутся силой. Я считал, что театр восславляет человека, что тут зримо воплощается предельно комический и предельно трагический человеческий опыт, Я говорю: «Да, это я могу сделать. Вот так я вижу жизнь». Раз я чувствую, то могу использовать свои чувства для работы. На работе другого типа я могу трудиться до седьмого пота — как актер я так и тружусь,— но свои чувства я использовать не могу. Вот почему я стал актером. Но оказалось, что этого им не нужно. (Смеется.) Им нужно, чтобы ты был глиной у них в руках».

Актеры превратились в зазывал. Вот, помнится, снимался я в телефильме лет десять назад — для телевидения я уже лет восемь не работаю. И курил сигару — длинную, кубинскую. Персонажу, которого я играл, кавалерийскому полковнику, шла сигара. Я сел на лошадь, и мы должны были кинуться в атаку

на холм. Снималась атака общим планом. Вдруг режиссер и продюсер хором завопили: «Стоп! Стоп! Это что еще за сигара?» Я говорю: «Я сигар не курю, но это нужно для роли. В эпоху Гражданской войны сигарет еще и в помине не было». Они говорят: «Не в этом дело, вы ее понимаете». А я говорю: «Теперь-то я прекрасно понимаю, только ведь программа вроде бы не рассчитана на рекламу сигарет». Рекламодателем был «Понтиак». Но заними сохранялось право на перепродажу, и потому полковник времен Гражданской войны не смел курить сигару — вдруг да купит программу сигаретная компания, и мое вживание в роль вредно скажется на рекламе их товара! Они потребовали, чтобы я бросил сигару. Нет, мы — ярмарочные зазывалы, и ничего больше.

Актера в первую очередь используют для рекламы товара. Это приносит хорошие деньги. Но мало этого: актеры теперь рекламируют политических деятелей. Этим не брезгают далее те, кто мне, вообще-то говоря, симпатичен. Помню, один такой прямо назвал актеров расхожим политическим товаром. Им нужно, чтобы актер был мальчиком на побегушках.

Я вовсе не презираю тех, кто снимается в рекламных фильмах. Мне даже такой работы ни разу получить не удалось. Один мой приятель объяснил мне, к кому пойти. Она говорит: «Вам придется сбрить бороду». Тогда еще бороды и длинные волосы не вошли в моду. Я говорю: «Это же голос за кадром. Так какая разница?» Она отвечает: «Вы не подойдете». Ну, я прочел рекламный текст про крем для бритья. В контрольную будку, наверное, человек сорок набилось, а обычно больше пяти там не бывает. Словно из всех кабинетов сотрудники сбежали. Меня не взяли. А они собрались поглядеть на чокнутого. Я еще три-четыре раза пробовался на голос за кадром. Всем нравилось, как я читаю, но работы таки я не полу чил.

Ну, не знаю. Не так, что ли, им кланяешься. Если бы я мог научиться, как надо кланяться, то, мох-сет, и попробовал бы. Прямо как в армии. В армии есть такое понятие — «недисциплинированность в манере держаться». Вроде бы за человеком нет никаких проступков, чтобы сказать: «Вот я наложу на него взыскание. На всю катушку». Просто как-то он не так держится. Говорит по уставу «да, сэр», «вет, сэр». Но что-то з нем есть такое, отчего вас тянет сказать, что его манера держаться отдает недисциплинированностью. Не целует он одно место, как положено. Есть в нем что-то такое. Про лошадь бы сказали: «Плохо обьезжена» — не сразу подчиняется команде и узде.

Когда я работал в Голливуде, давно уже, мне кто-то сказал: «Ты не понимаешь. Тут все держится на страхе, а ты словно бы ничего не боишься». Каждый чего-то бо-ится. По-моему, антоним к любви и счастью — совсем не ненависть. По-моему, это страх. Вот что, по-моему, губит все. Праведный гнев — это как раз хорошо. Но если говорить с ними прямо, ничего не получается. Я не понимаю, в чем тут дело... Как-то раз попал я на вечеринку. Ее устроил один видный продюсер. На чистом воздухе у бассейна. Чуть не двести человек собралось. Вдруг вижу — на дереве установлен трамплин. Я и вспомнил, что мальчишкой нырял с такой высоты и делал двойное сальто. Кто-то говорит: «Это вам не по зубам ни теперь, ни раньше». Я говорю: «Пожалуй, я и сейчас сумею». Он говорит: «Ну, можно проверить». Нашли для меня плавки. Я говорю: «Давайте хоть пари заключим. Ставлю доллар». Жаль, я тысячи не поставил. Вся компания на меня смотрит. Ну, я влез туда и нырнул. Тип этот сердито сунул мне доллар, и больше со мной никто не желал разговаривать.

Словно я что-то непотребное устроил. Он был какая-то крупная шишка, и ему хотелось надо мной посмеяться. Ну, я показал ему, что не треплюсь, а это обернулось светским промахом. Мне бы надо было скушать пилюлю и сказать: «Да-да, вы правы». Ну, а я этого не могу.

Года через два-три я пробовался на рекламу «Пан-американ». Автор текста выходит из контрольной кабины и говорит: «Я вас помню. У бассейна в Голливуде. Вы тогда что-то много о себе понимали. И меня вы, конечно, не помните». Наверное, он был одним из тех, кто в тот вечер не желал со мной разговаривать. Он говорит: «Вы, конечно, считаете, что в этом тексте нет и намек на художественность. Так позвольте вам сказать, что на двадцать строк этой рекламы потрачено больше мысли, больше художественности, больше времени и больше денег, чем на любую вашу бродвейскую пьесу». Я говорю: «Ну и прекрасно». Тут он говорит: «Продемонстрируйте нам, пожалуйста, силу вашего голоса». Я читаю: «Самолеты «Пан-американ...» Он меня перебивает: «Вот вы произносите «Пан-американ...» Я говорю: «Я же показывал вам силу голоса, а не читал». Ну, я попробовал еще раз, а он заявляет: «Ничем не лучше». Он просто искал, к чему бы придраться. Как по-вашему, он сводил со мной счеты за мой светский промах? (Смеется.) За то, что я — это я?

Кто сейчас всем заправляет? Торгаш. Для того чтобы выражать эту культуру, чтобы преуспеть, надо самому быть торгашом. Люди, которые пишут песенки для рекламы, зарабатывают куда больше тех, кто пишет оперы. И по общим меркам они преуспевают больше. А мерки эти торгашеские, и все прибрал к рукам торгаш. В глазах американской публики актер хорош, только если он хорошо зарабатывает.

На похоронах моего деда ко мне подошел мой дядя и сказал: «Неважно, что из тебя получилось. Мы тебя все равно любим. И хотим, чтобы ты знал, что у нас для тебя всегда найдется место. Так бросил бы ты эти глупости и вернулся домой!» Они считают меня неудачником.

Считается так: поработай в рекламе, обеспечь себе финансовый успех, а потом можешь заняться творческой работой. Это миф. Я ни одного человека не знаю, кому бы это удалось. Мне говорят: «У тебя ведь был такой шанс». Меня приглашали сниматься в шестидесяти с лишком телевизионных сериях. Но я всегда считал, что это реклама товара и только. Мне твердили одно и то же: «Пойди на это, а потом вернешься в театр и сможешь играть роли, какие захочешь». Но я не знаю никого, кому потом удалось бы вернуться к работе, в которой он видел свое призвание.

Ко мне часто подходят молодые актеры и говорят: «Я вас уважаю, потому что вы не продались». А я продавался, и не один раз. Нам всем приходится приспособливаться к обществу, в котором мы живем. Надо платить за квартиру. Вот мы и делаем что можем. Я брался за работу, для которой вовсе не гожусь. Но и в нее вкладываешь что можешь. Стараешься из уважения к себе, чтобы вышло чуть пристойнее. Собственно, у нас в стране суть труда изменилась именно в этом — люди перестали гордиться своей работой. А ведь жизнь человека — в его работе.

Даже среди столяров теперь не найти... «А, к чертовой матери!» — вот что они говорят. И знаете, они даже не зенкуют! Они больше не находят радости в работе. В Мексике даже в мощении улиц было что-то свое, особенное. Бордюр

укладывала не машина, его укладывали вручную. И возникали небольшие неровности. Вот почему в Мексике даже бордюр тротуара — уже отдых для глаза. И стены. Потому что это искусство, это творчество. Стул какой-нибудь уже показывает вам человека. И знаешь, что их не семь тысяч отштамповали за один день. Каждый сделан человеческими руками. В этом уже есть художественность, творчество, и от этого человечество становится счастливее. Работаешь по необходимости, но в работе обязательно нужно находить художественность, творчество.

Инид Дюбуа

Три месяца она работала в чикагской газете, занимаясь распространением подписки по телефону. «В этом отделе были почти одни женщины лет около тридцати. Мы все сидели в большом зале с телефонами. Четверо из нас были черными».

Я искала работу. И увидела в газете объявление: «Равные возможности. Заработная плата плюс комиссионные». Я позвонила туда и говорила очень вежливо. Сотруднику, который со мной разговаривал, понравился мой голос, и меня пригласили для личной беседы. По дороге туда чего я только не передумала! Ведь я же буду работать на Норт-Мичиган-авеню! На такой улице! Я себя не помнила от радости. Меня взяли сразу. Ведь нужно было всего только распространять подписку на газету.

Придумывать, что бы там сказать, нам не приходилось. Все было написано заранее. Берешь карточку и звонишь по алфавиту всем, кто стоит в списке. Карточек тебе дают около пятнадцати — с фамилией, адресом и номером телефона. «С вами говорит миссис Дюбуа. Вы не уделите мне минуту своего времени? Нас интересует, подписаны ли вы на какую-нибудь газету. Не согласитесь ли вы подписаться на нашу газету всего на три месяца ради благородного начинания?» Ну, там помощь слепым детям или «Кампания милосердия». Газета все время что-нибудь устраивала. «Через три месяца, если вы не захотите получать газету, можете отказаться от подписки. А им вы поможете. Они нуждаются в вас». Называешь себя по фамилии. Если хочешь, можешь придумать себе любую фамилию. А говорить надо так, словно ты настоящая актриса. (Смеется). Сначала я очень увлеклась — пока не разобрала, что к чему.

Платили нам всего доллар шестьдесят центов в час. Надо было получить в день девять-десять подписок. Иначе платили тебе только эти самые доллар шестьдесят центов. Это называлось «субсидированием». (Смеется.) Если тебя требовалось субсидировать еще раз, то с тобой тут же расставались.

Комиссионные определялись по району. Фешенебельный давал около трех с половиной долларов, а гетто — всего полтора. Ведь некоторые не оплачивают подписки. А есть такие улицы, куда газет вообще не доставляют. Мальчишки-почтальоны боятся туда ходить. Их там грабят. Самые лучшие районы — это пригороды.

За приличный район — не самый фешенебельный, но приличный — платили два с половиной доллара. А потом — на тебе! К концу недели вдруг выясняется, что кто-то отказался от подписки. Заведующий входит и говорит: «Они отказались, так что вы этих двух с половиной доллароз не получите». А

мы не знаем, правда это или нет. Откуда нам известно, что они отказались? Ио коммиссионные мы не получаем.

Если за неделю у тебя подписчиков выйдет мало, то работаешь сверхурочно — по четыре-пять часов. Мы ведь знали: нет подписчиков — не будет денег. (Смеется.) Мы даже по субботам приходили.

Были там и настоящие профессионалы. Но они обзванивали пригороды. А мне давали гетто. Опытные распространительницы и правда показывали класс. Они знают, как обработать человека. Говорят быстро-быстро. Тот хочет повесить трубку, а они: «Но ведь дети нуждаются в вас, нуждаются в вашей помощи. И ведь всего на три коротеньких месяца!» Ну, тому остается только сказать «ладно» и кончить разговор.

У них наготове был еще один трюк. Те, кто продлит подписку, получали бесплатно набор столовых ножей. Откажешься — ничего не получишь. Ну, а всем нравится получать что-нибудь бесплатно.

А заведующий входил в зал и говорил: «Эй, вы тут! Почему нет распоряжений о подписке? Вы чем тут занимаетесь?» Ввалится и заорет: «Я ведь могу набрать сюда сколько угодно бродяг с Мэдисон-стрит!» Все время придирался. Не человек, а горилла. И очень мне не нравилось, как он держится с женщинами.

У меня-то все шло хорошо. Только скоро я потеряла интерес. Конечно, заговорить человека я могла. Врать ему и врать. Только мне было противно. И становилось все противнее. Я даже молилась, чтобы у меня достало сил еще хоть немножечко. Мне очень нужны были деньги. Заставляю себя звонить и чувствую, что больше не могу.

Заведующий слушал, как мы говорим. Он мог подключаться к любому телефону. Проверял нас. Когда приходила новенькая, он сажал ее слушать, чтобы она училась у тебя — училась хорошо врать. Вот чего они от нас требовали. Скоро мне уже плакать хотелось, едва я приходила на работу.

Как-то я разговорилась с одной девушкой. Она тоже мучилась. Но и ей нужна была эта работа. Атмосфера там совсем другая, чем на фабрике. Всем ведь хочется работать на Норт-Мичиган-авеню. Никого из тех, с кем я там работала — ну, почти никого,— там теперь уже нет. Распространительницы все время меняются. Одни сами уходят, других увольняют. Горилла заявит, что они плохо уговаривают подписчиков,— и конец. Отбираются те, кто хорошо врет, и такие остаются. Я вот заметила, что тем, кто в годах, это вроде бы даже нравится. Прямо слышишь, как они обдуряют людей,..

Мы ссылаемся на какое-нибудь благотворительное начинание, а они все время новые. Причем у разных газет они разные. Я знакома с девушкой, которая работает распространительницей в другой газете. Телефонный зал в том же здании, что и редакция, но нам платит Агентство по обслуживанию читателей.

Когда я только начинала, мне дали неплохой район. У них так заведено — для затравки. (Смеется.) Это было легко. Я разговаривала с приятными людьми. А то такие попадаются! Говорят всякие пакости. От некоторых мужчин такого наслушаешься! А другие жалуются тебе на одиночество. Жена от него ушла...

Сначала мне нравилось разговаривать с людьми. Но скоро (мне ведь такой район приходилось обзванивать — им еду купить не на что, а уж на газету подписаться и говорить нечего!) я всякий вкус к этой работе потеряла. Они мне говорят: «Дамочка, мне девятерых кормить надо, а то бы я с радостью!» Что тут ответишь? Одной женщине я позвонила с утра, а она только что из больницы. Я ее с постели подняла.

Они мне рассказывали про свои трудности. Некоторые и читать-то не умели, честное слово. А знаете, что я говорила? «Если вы ничего, кроме комиксов, не читаете...», «Если у вас есть дети, так им надо научиться читать газеты...» Вспомнить стыдно.

В районах побогаче люди заняты, им разговаривать некогда. Но в бедных районах люди от души рады были бы помочь тому благотворительному начинанию, про которое я им рассказывала. Они говорили, что я так хорошо объясняю, что они все равно подпишутся. Многие просто счастливы были, что им кто-то звонит. Они готовы были говорить со мной хоть весь день. Рассказывали мне про свои трудности.

Их так ободряло, что вот кто-то готов с сочувствием слушать про то, что с ними случилось. Что кого-то это трогает. Ну и пусть они не подписывались. Я просто слушала. И узнавала по телефону всю их жизнь. А если заведующий подключался, мне было все равно.

Распространительницы, которые давно там работали, знали, что в таких случаях надо делать. Они точно знали, когда пора нажать на рычаг и набрать следующий номер. Их только подписка интересовала... А я все время мучилась, даже когда домой возвращалась. О господи! Я понимала, что долго не выдержу.

Но окончательно все решил один звонок. Я отбарабанила что положено. Он меня терпеливо дослушал, а потом сказал; «Мне бы очень хотелось помочь». Оказалось, что он сам слепой! Это меня и доконало — его тон. Мне сразу стало ясно, какой он хороший человек. Готов помочь, хотя газета ему вовсе ни к чему. И ведь бедняк. В этом я не сомневаюсь. Ведь обзванивала я самое нищее гетто. Я извинилась, сказала ему «спасибо». Ну, а потом мне так тошно стало, что я ушла — будто в туалет. Я тут вру ему напропалую, а он, слепой бедняк, готов помочь. Выманиваю у него последние гроши.

У меня прямо комок к горлу подступил. Стою над умывальником и молюсь. «Господи, — говорю, — неужто не может найтись для меня чего-нибудь получше. Я же никому в жизни зла не делала, милосердный господи». Ну, я вернулась в зал, но звонить больше никому не стала. Заведующий вызвал меня и спрашивает, почему я сижу и ничего не делаю. Я сказала, что мне нездоровится, и ушла домой.

На следующий день я вернулась, потому что другого заработка у меня не было. Но я все молилась, надеялась, искала. И тут, словно в ответ на мои молитвы, мне предложили другое место. Я и сейчас там работаю. И мне очень нравится.

Я пошла в кабинет к горилле и сказала ему пару теплых слов. Что он мне противен и что я видеть его больше не могу. Господи, да я вам просто не могу повторить, чего я ему наговорила! (Смеется.) Я ему заявила: «Я тут не останусь, чтобы врать для вас. Подавитесь этой работой». (Смеется.) И ушла. А он стоял



и моргал глазами. Даже рта не открыл. Совсем растерялся. А я держалась спокойно и не кричала. Так мне потом легко стало!

Работаю я в том же здании, и иногда мы с ним встречаемся в вестибюле. Он молчит и смотрит в сторону. А я, как его завиджу, поднимаю голову повыше и даже шага не замедляю.

Рой Шмидт

Мы зовемся загрузчиками дробилок. — это профсоюз настоял. А мы просто чернорабочие, вот что мы такое. Какая тут к черту романтика! Знай ворочай тяжелые баки весь день напролет. Я муниципалитету за его деньги отрабатываю сполна. Я человек самостоятельный. Работай я не тут, а где-нибудь еще, так все равно бы свое отработывал. Мы собираем мусорные баки и ссыпаем содержимое в дробилку — короче говоря, выполняем все ручные операции. Ничего сложного.

Ему пятьдесят восемь лет. Его напарникам пятьдесят лет и шестьдесят девять. В отделе уборка улиц он служит семь лет. «Два года я работал на товарной станции. Работа там ночная. И я выматывался не знаю как. К концу недели у меня все в голове мешалось. Я начал подыскивать дневную работу и устроился сюда».

В этом районе ребятишки уж очень нахальные. Пораспускали их. Не следят за ними, как следовало бы. Порядка тут маловато становится. Я сам здесь живу, ну и приходится терпеть. Ездишь из проулка в проулок, а они орут: «Помойщик! Помойщик!» Малыши, те машут руками, радуются, ну и помашешь им в ответ. А чуть подрастут, так тебя кроют, что только держись, (Смеется.) Глупы они еще, чтобы понимать, какая это нужная работа.

Я так семь лет езжу и чувствую себя куда свободнее. Возвращаюсь домой, а работа остается за порогом. Когда я работал в конторе, жена все время спрашивала: «Что это с тобой было ночью? Лежишь и барабанишь пальцами по матрасу». Я тогда в конторе работал счетоводом, и нервы у меня начали сдавать. Нет, уж лучше быть чернорабочим, только не счетоводом. Начать с того, что счетоводу платят гроши. В конторе я был самым низкооплачиваемым из служащих.

Правда, в доме от меня толку было больше. Теперь я так устаю, что ничего тяжелого делать не в силах. Подстриг газон, поднялся к себе, посмотрел по телевизору программу-другую — и на боковую. Зимой хуже. За день намерзнешься, и как войдешь в теплый дом, то и опомниться не успеешь, уже захрапел. (Смеется.) Водителю еще ничего, он в кабине. А мы все время на холоде.

Больше всего на плечах и руках сказывается. Там болит, тут болит. Года четыре назад меня радикулит скрутил. Ну, положили меня в больницу за счет муниципалитета. В тот год это со мной два раза было — оттого, что все время поднимаю тяжести. Один доктор мне так объяснил: я месяц работаю, и вроде бы ничего, а он уже начался. И вдруг как вступит в спину — ни встать, ни сесть, ни пошевелинуться.

Я ношу пояс, бандаж такой. Они во всех ортопедических магазинах продаются. Больше как напоминание. Этот доктор мне сказал, что у меня ноги длинные и я перенапрягаюсь, Мои напарники среднего роста, а ес мне

шесть футов три дюйма, Когда я служил в армии, я был на дюйм выше, и выходит, что с тех пор я немножко осел. Сам виноват. Наверное, поднимаю я не так, как следует, ну и порчу себе все дело. Последние четыре года я берегусь. И ни одного дня из-за него не пропустил. Второй раз пройти через такое я не хочу, можете мне поверить.

Поднимаешь бак емкостью в пятьдесят галлонов. А весить он может от восьмидесяти фунтов до нескольких сотен — это уж зависит от того, что туда напихали. За день мы поднимаем около двухсот баков. Считать их я ни разу не пробовал. А иной раз устроят тебе сюрпризик, набьют бак чем-нибудь тяжелым, вроде штукатурки. (Смеется.)

Я вот всегда говорю: по мусорному баку сразу можно определить, как человек живет. В нашем районе, например, наблюдается это самое мексиканское и пуэрториканское движение. Ну, а в баках много рису и порядком оберток от всяких готовых блюд. Они себя стряпней вроде бы не слишком утруждают. Я не говорю, что у них каждая семья такая. Я рядом с ними не жил.

Поверх этого костюма я ношу фартук. Два-три дня — и всю одежду пора перестирывать. Когда работаешь позади дробилки, в любую минуту из нее в тебя все что хочешь полететь может — жижа какая-нибудь, стекло или пластмасса. Никаких предохранительных устройств на ней нет. Из-под ножей куски летят что твои пули. Два года назад мне в лицо щепка врезалась. Рассадила бровь и разбила очки. Доктор мне шов наложил. Синяк у меня был — залюбуешься. (Смеется.) Опасная штука, по правде говоря. Представить себе невозможно, чего только люди не выкидывают. Я даже бутылки с кислотой видел.

По инструкции стоять позади дробилки, когда ножи работают, строго воспрещается. Только если это соблюдать, так за день слишком много времени даром потеряешь. Ножи работают, а ты уже следующий бак подготовил.

Разговаривать мы не разговариваем. Ну, разве из бака что-нибудь такое особенное вывалится или так перебросишься парой-другой слов. А то заедем в проулок и устроим перекур минут на пять. Тут уж мы обо всем на свете покалякать успеваем — текущие события, кто кого убил (смеется), сенсации всякие. А то кто-нибудь прочтет статью про то, что в Европе делается. Ну, иногда и про войну говорим. Только я таких разговоров никогда не любил.

К концу работы я еле на ногах держусь. Иной раз и пожалуешься, если день выдался особенно тяжелый. А жена говорит: «Так подыщи себе что-нибудь другое». Только где ж это человек в моем возрасте найдет себе что-нибудь другое? Новых мест для меня не напасено.

Она говорит, чтобы я вышел на пенсию, когда мне шестьдесят два стукнет. Кое-что мне по социальному обеспечению положено, а муниципальная пенсия будет совсем маленькая. Стаж-то у меня не такой уж большой. Через четыре года он составит одиннадцать лет, и права на полную муниципальную пенсию мне это еще не даст.

Надо жить нынешним днем, а вперед не заглядывать. Что о будущем думать — только себя расстраивать. У нас вот есть выражение — «вредный простой». Это когда весь проулок надо расчищать от мусора. Так чего заранее

из-за него себе настроение портить? Да к черту. Пока здоровье позволяет, я хочу работать.

У меня дочка колледж кончает. Если все пойдет гладко, то в июне получит диплом. Она медицину изучает. И либо преподавать пойдет, либо в лабораторию — наукой заниматься. А пока будет преподавать, сможет работать над диссертацией. Она так от меня далеко ушла, что мне уж..,

Я свою работу унизительной не считаю. И себя презирать не думаю. Она мне больше по нутру, чем сидение в конторе. Я теперь куда свободнее. Ну, и еще одно — от нее обществу большая польза. (Смеется.)

Один доктор рассказал мне вот какую историю. Давным-давно во Франции были у них всякие принцы, герцоги и прочие тому подобные. И как кто попадал в немилость к королю, поручали ему самую низкую работу — очистку парижских улиц, а они-то в те времена, навѣрное, в хорошеньком были виде. Один герцог что-то там натворил, ну и поставили его на эту должность. А он такой порядок навел, что его даже наградили. Самая скверная работа во всем французском королевстве, а его за нее по головке погладили. В первый раз мне довелось услышать историю, как за мусор уважать начинают.

Через несколько месяцев после этого разговора я получил от него открытку: «Мы с Ником еще работаем, только для меня проулки становятся все шире, а баки все тяжелее. Старею».

Мэгги Холмс

Если живешь на пособие, тебя все кругом попрекают, что деньги даром получаешь. Даром — это надо же! А как подумаешь, что нам пришлось пережить, сначала на Юге, а потом здесь, обо всей работе, что пришлось переделать... Нет, меня прямо трясет, когда я такие слова слышу. Я сама не знаю, что готова тогда сделать.

Я вот думаю, а что мы получали-то за свою работу? Мне платили полтора доллара в неделю — пять, а когда и шесть рабочих дней. А вот если живешь у хозяев, так и вообще ни минуты свободной нет. Вздумается им вечеринку устроить — выходи, прислуживай. Когда еще моя бабушка работала, ей вместо платы давали молоко и фунт масла. А отец с матерью тоже ведь работали, можно сказать, даром. О чем только белые думают? Каково бы им пришлось на нашем месте, это они представляют?

Двадцать пять лет она работала домашней прислугой, горничной в гостинице, судомойкой в кафе на Севере и на Юге. Живет со своими четырьмя детьми.

Уборкой заниматься я сейчас совсем не могу. Не могу, и все, у меня от нее с головой что-то делается. Ты и прибери, и вымой все, даже окна, и постирай, и погладь. Посуду мыть, стелить кровати — это ведь не входит в мои обязанности. А хозяйки так и норовят тебе это навязать, думают, ты не знаешь. Звонят в дверь — я не иду открывать. Опять звонят — я спокойно занимаюсь своим делом. Хозяйка спрашивает, почему я не открываю. Я ей говорю: «А кто я, дворецкий, что ли? В привратницы я вроде бы не нанималась. У меня своя работа, ее я и буду делать». Не то не успеешь оглянуться, а ты уже и нянька, и кухарка — все на тебя свалят. Приглашали

уборщицу, так я пришла и убираю. А то целый год ничего по дому не делают и хотят, чтобы я им все сделала за один день.

Как придешь в дом — первым делом хозяйка достает резиновые наколенники, видеть их не могу, прямо из себя выхожу. Такие подушечки на колени, точно ты в поле работаешь. Швабры или там чего еще от них не дождешься. Вот почему так много черных женщин болеют ревматизмом. Ползаешь целый день по холодному полу, ведь даже если в доме тепло, на полу все равно от воды сыро и холодно. Я, пока на Север не приехала, никогда не Еидела, чтобы кто-нибудь на коленях пол мыл. На Юге на то швабры есть. А если уж очень тяжелая работа, так приглашают мужчину. Окна мыть, например, это мужская работа. А здесь тебя и это заставляют делать, им на тебя наплевать. Я вот думаю, господи, да если бы ко мне кто-нибудь приходил мыть полы, убираться, уж как бы я благодарна была. А они и «спасибо» не скажут, принимают все как должное. Никакой тебе благодарности.

Работала я у одной старушечки на Лейк-Шор-драйв. Помните, какой однажды был снегопад, никто никуда добраться не мог?<sup>4</sup> Так вот, прихожу я к ней, она мне и говорит: «Позвоните в бюро». Успела уже пожаловаться б бюро по найму, что я опоздала. Я звоню и говорю (повышает голос). «Чего вам еще от меня надо? У меня дома своих черных ребятишек четверо и, пока я их не отправлю в школу, ни на какую работу не пойду. Мне их сначала Накормить надо, проследить, чтобы тепло оделись». И смотрю прямо на свою хозяйку. (Смеется.) А потом повесила трубку и говорю ей: «Вас это тоже касается. Мои дети для меня важнее всего на свете. А вы или кто другой не больно-то много для меня значите». Она такую рожу состроила: «Что-что?» Думала, я с ней так буду разговаривать (изображает покорную служанку): «Слушаюсь, мэм, постараюсь придти пораньше, мэм». Но не на такую напала. (Смеется.)

Я в тот день только войти успела, она мне велит сиять туфли. Я говорю: «Это еще почему? Ноги я у дверей вытру, а туфли снимать не буду, и так холодно». Она на меня так уставилась, будто сказать хотела: «Господи, что же это такое!» (Смеется.) Я сразу поняла, что восемь часов здесь не проработаю, просто не выдержу.

В доме у нее все прямо-таки блестело. А это всегда значит, что придется хорошенько поработать, уж я-то знаю. В столовой был голубой гарнитур, стулья небесно-голубые, спальня розово-голубая. Я посмотрела-посмотрела и говорю: «Да, вижу я, чего это будет стоить». Придется поползать На коленях, это точно. «Я, конечно, постараюсь все сегодня закончить, но, может, и не успею»,— говорю. Да, уж если на такую нарвалась, лучше сразу уходить.

Я ее спрашиваю, где швабра. Она отвечает, что швабры у нее нет. Я говорю: «Уж не думаете ли вы, что я поверю, будто вы моете пол на коленях. Я же знаю, что нет». Они всегда прячут швабры в стенные шкафы. Залезаю з шкаф и там за одеждой нахожу швабру. (Смеется.) Сами-то они на коленях ползать не будут, а черной, значит, ничего не сделается. Она мне говорит: «Вы все одинаковы...» А я ей: «Уж договаривайте: все вы, черномазые, одинаковы; это вы хотите сказать, да?» Она смотрит на меня обалдело, а я продолжаю: «Мне очень даже приятно, что я не одна такая. (Смеется.) Знаете что,— говорю,— давайте лучше что мне причитается, и я пойду, а то ведь я могу и

---

<sup>4</sup> Имеется в виду неделя большого чикагского снегопада, который начался 25 января 1967 года. Из-за транспортных заторов десятки

рассердиться». Так что пришлось ей заплатить мне за проезд и за то, что я успела сделать.

Если хозяйка сама работает, тогда еще ничего. Такая понимает, что значит рано вставать и идти на работу. А эти, из богатых пригородов, целый день сидят сложа руки. Думать им тоже не о чем, вот у них котелок почти и не варит.

Вот сейчас всё говорят о психическом состоянии. У бедняков психическое состояние не то, что у богатых белых. У меня оно зависит от работы, от того, хватит ли денег накормить детей. Бедность — вот и все мое психическое состояние. И самое оно здоровое. А у богатых все психическое состояние — из-за денег. Прямо заболевают, если не могут урвать побольше. У меня-то нет денег. Каждый день еле сводишь концы с концами.

Работала я как-то у одной, у нее еще муж судья. Вымыла ей весь дом. Мне уж пора домой идти, а она тут решила, что еще бы мне и белье погладить неплохо. Пошла в подвал, включила кондиционер и говорит: «Это на сегодня последнее. Вам будет удобно гладить в подвале, там кондиционированный воздух». А я ей: «Мне как-то все равно, чего у вас там в подвале, гладить я ничего не буду. Посмотрите на квитанцию, тут ясно написано — «уборка». Я что-то не вижу, где здесь сказано «глажка». Еще ока хотела, чтобы я вымыла стены в ванной. Говорю: «Это вы посмотрите в телефонной книге, там любые услуги обозначены, какие вам только надо». Она мне сказала прямо, как та, другая: «Все вы такие», а я ей ответила так же: «Зы хотите сказать, все черномазые?» (Смеется.)

Они к вам когда-нибудь обращаются по фамилии?

Да ну что вы! (Смеется.)

А вы к хозяйке обращаетесь по фамилии?

А с чего мне к ней обращаться, я с ней почти не разговариваю. Не из-за чего-нибудь, а просто, когда я работаю, мне не до разговоров. Все равно им не понравится, что ты можешь сказать, я и помалкиваю.

Большей частью она работала в пригородах. «Сначала доезжаешь до метро на автобусе. Потом в Хауарде<sup>5</sup> пересаживаешься с метро на надземку. Едешь до конца, а дальше — или автобусом до места, или, если туда автобусы не ходят, хозяева тебя довозят. Не люблю работать в самом городе, там так и норовят заплатить тебе поменьше. И убирать в старых домах — одно мучение, отмыть ничего невозможно! Их не так чисто содержат, как в пригороде. А в пригородах дома все новые, их убирать легче».

Обычная картина: как только наступает вечер, в сторону пригорода мчатся поезда, переполненные молодыми белыми мужчинами с элегантными чемоданчиками. А навстречу им проносятся поезда, переполненные черными женщинами средних лет с бумажными сумками. Обе эти группы друг друга словно и не замечают.

«Ужас сколько времени тратишь на дорогу. Вечером из пригорода невозможно выбраться, застрянешь и ждешь часами. На дорогах пробки. А надо успеть к определенному поезду: у меня пересадочный билет. Добраться до работы и обратно домой — это целая история. Пропустишь свой

---

<sup>5</sup> Граница между Чикаго и северным пригородом Ивенстоном.

пятичасовой поезд, так неизвестно, когда вообще дома будешь. Иной раз я раньше восьми домой и не попадаю...»

Поработаешь целый день тряпкой, так у себя дома уже убирать не захочешь. Восемь часов в чужом доме да столько же в своем, небось (вздыхает тихонько) устанешь. А дома надо приготовить еду, постирать, о детях позаботиться. Чуть не каждый день стирать приходится, чтобы им было б чем в школу пойти. Да и вообще в доме надо прибрать — утром на это нет времени. Стирать, гладить — все это приходится делать ночью. Так устает, что просто с ног валяешься.

Встаю я в шесть, готовлю завтрак детям, отправляю их в школу, в восемь выхожу из дома. Я пеку ребятам печенье, кукурузный хлеб — все сама. Не люблю готовую еду, консервы всякие. Если достала из холодильника бобы и бросила их в кастрюлю — это еще не стряпня. Другая пойдет, поставит готовый обед разогревать и говорит, что готовила. Кет, не стряпня это.

И она еще говорит, что устала. От чего уставать-то? У нее и мойка есть, и сушилка — машин на кухне полно. Ей только достать еду из холодильника, разморозить да бросить в кастрюлю — и она, видите ли, устала! Я вот иду в магазин, покупаю овощи и зелень, мою их. Я уж их сама выберу, а эту консервированную дрянь есть не стану. А она себя не утруждает и все равно устала.

Приходишь утром работать — хозяйка уже одной ногой на пороге. Не успеешь войти, она — раз за дверь, и след ее простыл. Видали таких, она хочет, чтобы я за ее детьми присмотрела, отправила их в школу. Что она себе думает, я и от своих-то достаточно устаю. Мне бы вон тоже пойти по своим делам хотелось. Да нет, где им это понять — вот что меня доводит.

Я, значит, на них гну спину, а они гуляют где-то. Но вообще-то это далее лучше, терпеть не могу убираться, когда они дома. Де; лать им нечего, вот они целый день висят на телефоне и сплетничают друг про друга. Я стараюсь всегда дверь поплотнее закрыть, только чтобы этого не слышать. Это прямо невозможно. И везде, в каждом доме, одно и то же, будто они сговорились.

Я все о детях думаю, пока работаю. Не люблю их надолго одних оставлять. Если им уже время прийти из школы, думаешь, на улице они или нет, беспокоишься, есть ли им где поиграть. Я всегда по два, по три раза звоню домой, ну а если хозяйке это не нравится, стараюсь поскорей закругиться. (Смеется.) У меня уже все мысли дома, что бы мне такое купить на ужин, пока не закрылись магазины.

Никсон этот сказал, что ничего такого, если человеку приходится заниматься уборкой. А если всю жизнь только этим и заниматься? Пора бы ему знать, что нам тоже хочется быть врачами, учителями или юристами, как он. Я не хочу, чтобы мои дети были уборщиками. Это унижительно, на такой работе у тебя нет никакого будущего. Кухарки да лакеи — вот и все, чем мы были, и отцы наши, и деды. Сами-то они хотят, чтобы их дети становились адвокатами, врачами и всякое такое. Небось не пошлют их в кафе прислуживать...

Они говорят, что мы живем в грязи, так чего же они тогда зовут нас убирать у себя в доме? Это ведь мы, ужасные женщины из трущоб, каждый день убираем их дома в пригородах. Если мы такие грязные, зачем же вы нас

зовете у себя чистоту наводить: Они-то к нам не придут и не уберут — эти мы на них работаем.

Как-то работала я в одном доме, вместе с белой женщиной. Так сразу было видно, как хозяйка к ней относится и как ко мне. Перед той женщиной она чувствовала себя вроде как виноватой в чем-то. Белую они не попросят делать самую тяжелую работу, а меня — почэму бы и нет.

Они хотят, чтобы мы приходили работать в форменной одежде. А мы — что я, что моя мать — убираем в чем обычно ходим. Мать говорит; «Раз там так грязно, что я не могу надеть свое платье, так я и работать там не стану». Оденешься нормально, как они, — хозяйка обязательно думают, что ты работать как следует не будешь, иначе побоялась бы испачкаться. В какой форме приходите, они не говорят, просто — «в форме». Это чтобы, если кто зайдет в дом, видел бы сразу, что черная тут не просто так околачивается, а работает. Не нравится им, когда мы ходим по дому как они одетые. Меня иногда спрашивают: «Разве у вас нет ничего другого для работы?» — «Нет, — говорю, — потому что я же собираюсь ползать на коленях по полу».

Теперь-то они стали осторожнее, уж можете мне поверить. Специально спрашивают: «Как мне к вам обращаться?». Я говорю: «Главное, не зовите меня негритяжкой, я черная». — «О, я не хочу, чтобы вы на меня сердились», — говорят. (Смеется.) А старикашки многие очень религиозны. «Как велит господь», — у них любимая поговорка. А я им всегда говорю: «Как я сама захочу». Не потому, что я безбожница, а просто пусть, знают, что я не так, как они, думаю.

Молодые женщины не обращают на тебя особого внимания. Большинство из них работает. А вот те, что постарше, все время следят, как ты работаешь. Мне не очень-то нравится, когда меня проверяют. И всегда они хотят показать тебе, как надо убираться. Нет, это просто с ума сойти — меня учат убираться! Да я этим всю жизнь занимаюсь. А они берут тряпку и объясняют мне, как с ней обращаться. (Смеется.) Я посмотрю-посмотрю да скажу: «Все? Может, у вас какие свои дела есть, так лучше бы ими занялись». Меня, знаете, учить работать не надо.

А еще они любят засунуть куда-нибудь деньги и сделать вид, что не могут найти. Просят меня поискать. Я у одной работала, так она, когда я подметала, нарочно обронила на пол десять долларов. Хорошо еще, что я их заметила, а то, если бы их замела с мусором, она обязательно бы сказала, что я хочу прикарманить эти деньги. А я тахту отодвигаю, глядь, там десять долларов. Они нарочно что-нибудь подкидывают во время уборки... все проверяют тебя.

Я и в гостинице работала. Везде одно и то же. Стелешь кровати, чистишь туалеты и всякое такое. Белье меняешь, полотенца, убираешь. А постояльцы на тебя так смотрят, будто хотят сказать; «А, это всего лишь прислуга». Меня это совершенно выводит из себя, просто выносить не могу.

Некоторые постояльцы ужасно привередливые. Стараешься поскорей постелить кровать и убраться из комнаты, пока они еще чего-нибудь не выдумали. Такой раз уж остановился в гостинице, то за свои денежки хочет сполна получить. (Смеется.) Они набирают столько полотенец, что вовек не использовать. Но ты уж им эти полотенца вынь да положи. Поддай им эту подушку, принеси то одеяло — так и бегаешь взад-вперед.

Иногда, когда гостиница переполнена, мы в номера ставим дополнительно раскладные кровати. Принесешь ее, а постоялец смотрит на тебя как на сумасшедшую и говорит, что никакой кровати не просил. Несешь ее обратно с двенадцатого этажа на первый, оказывается, портье ошибся, не в тот номер тебя послал. Но разве он признает, что ошибся! Ты же в конце концов и виновата.

А еще такие бывают постояльцы... работать из-за них невозможно. Позвонит такой, скажет, что ему нужны полотенца. Стучишься к нему, он говорит: «Войдите». А сам стоит посреди комнаты в чем мать родила. Ну, в номер, понятно, не заходишь, бросишь полотенца да скорей обратно. И стараешься вообще туда не заходить, пока он не съедет.

Как что-нибудь пропадет, первым делом думают на прислугу — есть такие люди. Если у нас такие останавливаются, мы говорим старшей горничной: «В их номере убирайте сами». Я всегда стучу, и если в номере никого нет, то не вхожу. Потому что если ты там убирала, они обязательно позвонят и спросят: «Не попадалось ли вам то или, там, другое?» Они впрямую тебя не обвиняют, но смысл тот же. Ты говоришь: нет, не видела. А они: «Но эта вещь была в номере, это точно».

Когда я прошлым летом работала в гостинице, у одной женщины пропал кошелек. А я в тот день на ее этаже и не убирала. Она позвонила в бюро обслуживания. Меня там спрашивают, не видела ли я ее кошелек. «Нет,— говорю,— я в том номере не была». А они не отстают. Я не могла уйти домой до двенадцати. Наконец она нашла кошелек, он был завален какими-то бумагами. Я с той работы уволилась, чтобы меня больше в воровстве не обвиняли.

Знаете, чего мне вею жизнь хотелось? Играть на пианино. И писать пески всякие — вот что мне по душе. Если бы я только могла купить пианино... И еще я хотела бы написать о своей жизни, если бы только у меня хватило терпения, как я росла на Юге, и дед мой, и отец тоже — я бы очень хотела про все это написать. И еще заняться историей черных — это для моих детей, чтобы они знали.

Я им как что скажу, они мне говорят: «Ну, мама, это в прежнее время так было». (Смеется.) Им многие вещи трудно понять, сейчас столько перемен в жизни. Молодые черные женщины теперь не часто работают уборщицами. И я рада этому. Поэтому я и хочу, чтобы мои дети ходили в школу. Та женщина сказала мне: «Все вы теперь такие». А я ей сказала: «Я рада этому». Больше мы не будем вставать на колени.

Фил Столлингс

Он работает электросварщиком на сборочном заводе Форда на южной окраине Чикаго. Ему двадцать семь лет. Он недавно женился, работает в третью смену — с пятнадцати тридцати до полуночи.

«Автомобиль начинается с меня, с первой сварки. Потом он поступает на другой конвейер и получает пол, крышу, крышку багажника, дверцы. Потом его ставят на шасси. Конвейеров ведь сотни. У сварочного аппарата квадратная рукоятка а две кнопки: верхняя — для высокого напряжения, нижняя — для низкого. Высокое напряжение — чтобы прихватывать металл, а низкое — чтобы сплавлять.



Аппарат подвешен к потолку над конвейером, который движется по кругу, только вытянутому, как яйцо. Сварщик стоит на цементном возвышении, дюймах так в шести над полом».

Я топчусь на одном месте площадью в два-три фута до глубокой ночи. Остановиться можно, только когда конвейер останавливается. Тридцать две точки сварки на машину, на кузов. Сорок восемь кузовов в час, восемь часов в день. Попробуйте, подсчитайте. Тридцать два на сорок восемь на восемь! Вот столько раз я нажимаю кнопку.

Шум — оглохнуть можно. А стоит рот открыть — того и гляди, наглотаешься искр. (Показывает руки.) Вот это ожог, и вот тут тоже ожоги. Шум все равно не перекричишь. Да и где тут орать, когда надо аппарат нацеливать для сварки.

Некоторые словно зажаты изнутри и не слишком-то разговорчивы. Очень уж трудно. Ну и обособляешься. Замыкаешься в себе. Мечтаешь, думаешь о том, что ты когда-то делал. Я чаще всего вспоминаю, как я был мальчишкой и как мы с братьями проводили время. Думаешь про самое тебе дорогое и словно заново все переживаешь.

Сколько раз бывало: начнешь работать — и уже перерыв, а в промежутке ты как будто и не работал вовсе. Когда мечтаешь, меньше шансов Сцепиться с мастером или с соседом.

А он не останавливается. Двигается, движется и так все время. Здесь наверняка есть такие, кто всю жизнь у конвейера простоял, а так его конца и не видел. Да и не увидит. Потому что он бесконечный. Вроде змеи, Одно туловище без Хвоста. Он с человеком такое вытворяет... (Смеется.)

Все одно и то же, одно и то же, и потому если начать думать про работу, то мало-помалу спятишь. До того тебе станет неладно, что хоть сейчас вцепляйся соседу в глотку. И будешь всякий раз огрызаться, как к тебе подойдет мастер. Только бы злость сорвать, а уж на ком, тебе все равно. Чтобы с этим справиться, надо замкнуться в себе.

Мне вот не нравятся нажим, запугивание. Вам бы приятно было идти к кому-нибудь и говорить: «Мне надо в уборную»? Если у мастера на тебя зуб, так он не разрешит. Мимо ушей пропустит. А если я без разрешения оставляю рабочее место, так меня уволить могут. Конвейер-то все время движется.

Я работаю рядом с Джимом Грейсоном, так он своими мыслями занят. А слева от меня мексиканец — он по-испански говорит, и не поймешь, чего он там бормочет. Только одно и остается — не обращать на него внимания. Брофи — он еще совсем молодой и в колледже учится. Он наискосок от меня стоит. Вот с ним мы иногда разговариваем. Если он не в настроении, то я молчу. Ну, и он знает, когда я не в настроении.

Конечно, напряженность тут какая-то существует. Может, это и не очень заметно, только белые держатся с белыми, а цветные с цветными. Когда поступаешь к Форду, Форд говорит: «Ты с другими людьми работать можешь?» Это кладет конец неприятностям до того, как они начнутся. Они ведь не могут допустить, чтоб люди, которые работают бок о бок, все время между собой сцеплялись. А если таких два человека сторонятся друг друга, то и работы они дадут больше. Ясно, как все это выходит?

Я вот чего не понимаю: почему больше людей не срывается? Ведь тут же ты всего только машина. Разве что о настоящих машинах они больше заботятся, чем о тебе. Машину они и ценят больше, и внимание ей уделяют. А ты ведь это знаешь. Ну, и начинаешь вроде чувствовать, что машина лучше тебя. (Смеется.)

И тут поневоле задумываешься. Меня-то они как ценят? Вот сравнить с машиной. Если машина ломается, тут же приходит наладчик и приводит ее в порядок. А если я ломаюсь, меня просто отпихивают в сторону и ставят на мое место другого. Они только об одном думают — чтобы конвейер не остановился.

Я работаю в полную силу. Я верю в восьмичасовую оплату восьмичасового рабочего дня. Но насиловать себя не собираюсь. Чего я не могу, того делать не стану. Я тут уже три года, и ничего такого не допускаю. Но несколько стычек с мастерами у меня все-таки было.

Работал я тогда с перегрузкой. Порезался, царапина воспалилась, и началось у меня заражение крови. Сверло сломалось. Я бг-нес его мастеру и говорю: «Поскорей замените». Мы тогда гнали капоты «икс-эл». Я ему говорю: я ведь не наладчик. С этого все и началось. Я говорю: «Ну, ведите меня в Теплицу, раз вам так хочется». Это кабинет управляющего, где мозги управляют. Вот тогда он и сказал: «Видал я таких, как ты, за воротами».

Один мастер, он тут самый молодой, так он вот что считает: я здесь главный, а если тебе это не нравится, так можешь отпраиваться на все четыре стороны. И что тот, другой, мастер скажет, этот чаще всего отменяет. В некоторых случаях и мастера друг с другом не уживаются. С ними ладить трудно, даже им самим же.

Ну и, конечно, на мастера тоже кто-то давит, подгоняет его. Только мастер все-таки может пойти в уборную или выпить чашку кофе без спроса. Ему за это ничего не будет. Когда я только поступил сюда, я мастерам вроде как завидовал. А теперь я бы не стал с ними меняться. Мне с ними не по дороге.

Когда человек становится мастером, ему надо про все человеческое забыть, то есть в смысле чувств. Видишь, рабочий кровью истекает. Ну и что? Конвейер важнее. Я так не могу. По мне, если человека ранило, надо в первую очередь о нем позаботиться.

А, да! Заражение крови. Меня задело капотом, внутренней его стороной. Ну, Это место разболелось. Я пошел в медпункт. Мне говорят — это фурункул. Вечером я пошел к своему врачу. Он говорит — заражение крови. Жар у меня начался и все такое прочее. Ну, теперь-то я разобрался и знаю, в чем тут дело,

На заводе есть медицинское обслуживание. По сути это пункт первой помощи. В нашу смену врач там не дежурит, а сидят две-три медицинские сестры. На одной двери табличка «Лаборатория», на другой — «Операционная». Но, по правде сказать, я их опасаюсь. Я боюсь, что меня поранит, а от них ничего, кроме пустых слов, не дождешься. Один раз на меня свалился железный прут со стеллажа — в грудь ударил и весь бок рассадил. А они даже рентгена не сделали, а сразу послали работать. Две недели назад я пропустил три с половиной дня. У меня был бронхит. А они сказали, что я здоров, раз у меня нет температуры. Я ушел домой, и мой врач сказал, что мне по меньшей мере две недели о работе и думать нельзя. Только деньги-то зарабатывать

надо, ну, я и вышел на следующий же день. А потом чувствую, что все-таки сильно болен, ну и пролежал до следующего понедельника. Как-то я потянул мышцу на шее. Ведь когда берешься за аппарат, то тянешь всю тяжесть — и кабель, и противовес. Ну и напрягаешь спину, плечи, шею как только можешь. Удивительно еще, что несчастные случаи происходят не каждый день. Перегибаешься, держа аппарат обеими руками. А край очень острый. Мне рубашки всего на две недели хватает. Протирается вот тут насквозь. Бывает, комбинезон загорается. И рукавицы тоже. (Показывает на локоть.) Видите дырочки? Это искры прожгли. У меня тут со вчерашней ночи пузыри.

Конечно, я мог бы найти работу поприятней. Но где еще, спрашивается, я буду зарабатывать такие деньги? Что ни говори, а четыре доллара тридцать два цента в час — сумма хорошая. Ну и вообще я против того, чтобы варить кузоза, ничего не имею. Мне это далее нравится. Руками работать я люблю больше, чем головой. Люблю соединять части вместе и смотреть, что в конце концов получается. Я первый скажу, что у меня на конвейере самая легкая операция. Но я против того, чтобы мне никакого ходу не давали. Я буду работать как вол, пока не добьюсь, чего хочу. А по-настоящему я хочу быть подмешником.

Это значит, я могу выполнить любую операцию в цехе и из-за меня волноваться нечего. Да. и теперь уже из, скажем, шестидесяти операций я чуть ли не половину мог бы выполнить. Хватит с меня топтаться на одном месте. Подмешник чуть не каждый день на другой операции. Вместо того чтобы стоять тут восемь часов в день, я бы то там проработал восемь часов, то еще где-нибудь. Каждый день что-нибудь новое. Поработал бы рядом с разными людьми. В обеденный перерыв я по полчаса работаю на грузоподъемнике — для тренировки. Начальник смены обещает меня перевести, когда я это дело как следует освою. Я не хочу, чтобы другие меня видели. Когда становишься на грузоподъемник, то уже ни о чем не думаешь, а весь сосредоточиваешься. Что-то у тебя в руках вот сейчас — не в прошлом, не в будущем. Это же по-настоящему здорово.

Я на работе никогда не ем. Разве что конфету пососу и хватит. От еды меня замутит. Все тело в напряжении из-за скорости конвейера... Чуть настроишься, остановиться уже невозможно. Какая-то инерция возникает. Ну, может, и не замутит, так тяжесть в животе будет.

Горжусь я своей работой? Как же я буду гордиться, если укажешь мастеру на ошибку, на бракованный инструмент, а он мимо ушей пропускает? Ну, и скоро ты уже понимаешь, что им наплевать. А если не отступаться, объявят тебя смутьяном. Так что выполняешь свою операцию — и все. Ну, а без гордости никак нельзя. А потому находишь для себя что-нибудь другое. Я вот марки коллекционирую.

Я бы обе ноги позволил себе сломать, если бы за это дали мне заняться какой-нибудь социальной работой. Сколько я навиделся молодых ребят, у которых не по их вине все пошло наперекос. Я бы, наверное, стал работать с подростками. Я всем молодым ребятам на конвейере говорю: «Выбирайся отсюда. Иди в колледж». Мне-то самому уже поздно.

Когда попадаешь к Форду, тебя первым делом стараются сломить. Я сам видел, как ставят высокого человека туда, где рост — помеха. А то поставят коротышку на место, где только великану впору работать. Вот вчера ночью

привели пятидесятивосьмилетнего старика и поставили на мою операцию. А он моему отцу ровесник. И я знаю, что отцу такая работа уже не по силам. По моему, это бесчеловечно. Работа должна быть работой, а не смертным приговором.

Рабочий помоложе, когда его зажмет, начинает огрызаться. А возьмите старика — ему год осталось трубить, ну, два или, может, три, Я бы на его месте и слова не сказал бы. Плевал бы я на них. Потому что два-то года я уж как-нибудь дотерплю. Я этого человека не осуждаю. Я его уважаю, потому что у него хватило силы воли проработать так тридцать лет.

Дальше будет не так. Одна тенденция уже наметилась. Омоложивание. У нас ведь теперь тридцатилетний стаж введен. Тридцать лет стажа — и на пенсию. Теперь у человека будет больше времени, чтобы замедлить темп и пожить по-человечески. Когда ему нет шестидесяти, он еще может обзавестись прицепом и ездить удить рыбу. Я об этом думал. Мне еще двадцать семь лет трубить. (Смеется.) Вот почему я не задираюсь и не ищу, во что бы такое ввязаться.

Я только тогда вступаюсь, когда дело касается прямо меня или кто-то на конвейере попадает в положение, в которое и я могу попасть. Я в благородную борьбу не верю, но когда произошла эта история... (Растерянно умолкает.)

Мастер совсем уел парня. Ну, тот сказал, чтобы он отошел, а может, толкнул его или отпихнул. И винить его нельзя. Джима Грейсона то есть. Я бы никому не позволил тыкать мне пальцем в лицо. Я бы ему наверняка врезал. Ну, и как-то все почувствовали: хватит, пора дать им отпор. Поддержим парня. Мы остановили конвейер. (Умолкает, широко улыбаясь.) Форд потерял на этом машин двадцать. Скажем, по пять тысяч машина — сколько же это выходит? (Смеется.)

Я сказал: «Пошли по домам». Когда конвейер стоит, можно подойти к одному какому-то человеку и спросить: «Будешь работать?» Если он ответит «нет», его уволят. Но если в цехе никого не будет, так к кому же они будут подходить и спрашивать: «Будешь работать?»? Никого же нет! Если бы от меня зависело, мы бы все ушли.

Джим Грейсон — мой сосед по конвейеру, он цветной. Самый настоящий. Я в первый раз видел, чтобы весь конвейер так объединился. Ну, лиха беда начало. Все просто сели и сложили руки. Можете мне поверить. (Смеется.) Конвейер остановился в восемь, а вновь пошел только в двадцать минут девятого. Все как один бросили работу. Здорово вышло. По-настоящему здорово.

Джин Стэнли

Она работает продавщицей в парфюмерном отделе универсального магазина. Это пригородный филиал лучшего магазина в городе. Покупают там преимущественно богатые люди.

Она работает здесь пять дней в неделю все последние семь лет, но начала она работать тридцать лет назад. «Я просидела дома около двадцати лет и вернулась за прилавок, когда дети учились уже в старших классах».

Ее муж — агент по закупке текстильных товаров. Хотя у него отличная репутация, положение его довольно непрочное из-за общей тенденции к

омолаживанию, наблюдающейся в легкой промышленности. У них трое детей, все учатся в колледжах.

Я продаю косметику женщинам, которые пытаются выглядеть как юные девушки. На питательные кремы женщины тратят теперь гораздо больше денег, чем два десятка лет назад. Я еще помню время, когда губная помада по два доллара казалась безумно дорогой. А теперь есть помада и по пять долларов. Сколько раз я думала: тридцать долларов за крохотную баночку крема! Он ведь столько не стоит, я-то знаю. Но покупательница заплатила бы за него и дороже. Вот это средство убирает морщины на пять-шесть часов. От него поддухает кожа. Мы его очень ругали. А потом как-то утром пришла женщина и говорит: «Я иду устраиваться на работу, а мне уже за сорок. Я хочу выглядеть посимпатичнее». Вот ей я его продала с удовольствием. Может, благодаря ему она получит работу.

Есть у нас такое присловье, что все взято из одного чана. (Смеется.) Нет такого крема, который на самом деле стоил бы сорок или пятьдесят долларов. Но когда видишь, с какой надеждой женщины покупают такие средства, не хочется их разочаровывать. Они подмечают на своем лице все новые морщинки и складочки, а их мужья у себя в конторах постоянно видят молодых привлекательных девушек. Вот они и стараются следить за собой, чтобы нравиться мужу. Значит, и от косметики есть польза.

Сколько они стараний кладут, чтобы нравиться мужу по-прежнему! По их глазам видно, как они боятся морщин, и обязательно говорят: «Посмотрите, как я ужасно выгляжу!» И тут же добавляют, что по телевизору показывали крем, который уничтожает морщины... Это все телевидение наделало. Раздразнило их.

Покупательницы обращаются к нам за советом. Полагаются на нас. Когда много лет работаешь на одном месте, у тебя появляется своя клиентура. Приходят и ждут, пока ты не освободишься. Ты уже словно хорошая знакомая. А с чужим человеком им говорить легче, чем со старой приятельницей. Ну, и рассказывают мне все свои маленькие трагедии. Когда целый день вот так соприкасаешься с людьми, узнаешь о них очень много. И так много на свете одиноких людей! Так много женщин от сорока лет до семидесяти.

Нам полагается рекомендовать то или иное изделие. На этом принципе работают многие магазины. Мы рекомендуем те, которые нам хорошо известны. Покупательницы просят показать им крем фирмы Арден, или Лодер, или Рубинштейн, и мы показываем. Когда покупательница спрашивает такую-то или такую-то помаду, мы не навязываем им свой выбор. Я не агрессивна. Я совсем не хочу, чтобы покупательница вернулась домой с полной сумкой покупок, спрашивая себя: «Зачем я все это накупила?» Стараешься понять покупательницу. Я всегда ставлю вопрос так: «Сколько вы хотели бы истратить?»

Прежде продавщицы косметических и парфюмерных отделов в среднем зарабатывали лучше, чем сейчас. Тогда можно было заработать гораздо больше, чем получали конторщицы и секретарши. А теперь мы получаем меньше их. Слишком большие средства фирмы расходуют на рекламу. Возможно, они считают, что в результате продавщица продаст больше и заработает больше. (Смеется.) Я знаю, конечно, что эти средства идут не из

фонда заработной платы. На рекламу выделяются колоссальные деньги. Мы получаем заработную плату плюс комиссионные. Моя дочка, которая подрабатывала на каникулах, теперь говорит: «Наименьший общий знаменатель — это продавщица, получающая комиссионные». (Смеется.) Такая система развивает у людей жадность, заставляет не считаться с интересами тех, кто работает вместе с тобой.

Мне платит не магазин, а косметическая фирма. И фирма требует, чтобы я продавала именно ее изделия. Каждый месяц посылаешь отчет. В моем отделе нас десять. И каждая представляет какую-то фирму. Тут, в пригороде, продавщицы представляют не одну фирму, а по несколько — скажем, две-три косметических и четыре-пять, а то и шесть парфюмерных. У тебя на руках колоссальное количество товара, а тут еще составляй отчеты. Подоходный налог приходится вычислять с помощью бухгалтера. (Смеется.) Столько фирм тебе платят.

Составление отчетов — это дополнительная работа, которую выполняешь дома в свободное время, ничего за это не получая. Это целые простыни со множеством пунктов. Возиться с отчетом по вечерам в будние дни просто сил не хватает. В глазах круги идут. (Смеется.) Чувствуешь себя немножечко усталой и откладываешь на воскресенье. А потом корпишь над ним с утра до самого вечера.

И еще профессиональный риск. (Смеется.) Нас не страхуют от болезни. Фирма не оплачивает госпитализацию. Приходится страховаться самой. И пенсии нам не положены. Одна продавщица проработала в этом отделе пятнадцать лет и ушла из-за возраста. Если бы ее нанимателем был магазин, она получила бы пенсию, хоть и небольшую. А так она ничего не получила..И со мной будет то же.

Фирма, которую я представляю, оплачивает нам пять дней в год отпуска по болезни. Если проболеешь больше пяти дней, тебе уже не платят. Я болела всего только раз, но сверх пяти дней мне ничего не заплатили. У продавцов универмага есть профсоюз, но если тебе платит кто-то другой, то... Ничейная земля, вот что это такое. В прежние время, когда заработок был больше, я могла бы кое что скопить на черный день. А теперь это не получается.

Заведующая откосится ко мне хорошо. Она знает, что может на меня положиться. Я ведь никуда не уйду. Я тут уже семь лет и ни оодного дня не пропустила. В таком Еозрасте, когда тебе... (Теряет ход мысли.) Меня могут уволить когда угодно. У нас нет никаких гарантий.

Стоишь на ногах весь день. Прежде было правило, что за каждым прилавком должен стоять табурет. Но его давно забыли. Никаких табуретов. Наверное, к концу дня ноги гудят у всех. У нас подрабатывают студентки, особенно на рождество. Они больше жалуются на усталость, чем женщины постарше.

Заведующая как будто побаивается делать им замечания. Они не слишком старательны. И не так уж вежливы. Возможно, это по-своему и неплохой признак. Может быть, они считают, что это все чепуха —всякие там «спасибо» и «пожалуйста». Бот и их внешность тоже. Они проявляют независимость. Но проявлять-то проявляют, а выглядят все одинаково. (Смеется.)

Когда у вас дети учатся в колледже, денег нужно много. (Смеется.) Вот почему так много женщин идет работать — чтобы платить за обучение своих детей. У нас работают вдовы, женщины, которые из-за кризиса не смогли получить профессии. Вот нам и пришлось пойти в продавщицы.

Дорогие магазины вроде нашего торгуют косметикой для черных женщин. Из них многие покупают косметику светлых тонов. Им кажется, так они выглядят красивее. Когда обслуживаешь черную покупательницу, надо быть очень осторожной. Некоторые любят крепкие духи. А некоторые не покупают крепких духов именно потому, что они черные. Это женщины из зажиточных семей. Предубеждение среди продавщиц... Да разве об этом расскажешь! Каких только выражений не слушаешься! Не представляю, как это все разрешится. Иногда просто теряешь веру в человечество.

Конечно, это не самая интересная работа. Я мечтала стать учительницей, ко кризис... Хотелось бы заниматься чем-то более увлекательным и полезным, так, чтобы чувствовать, что и ты вносишь свою лепту. А с другой стороны, обслужишь одинокую пожилую женщину, уйдет она от тебя с улыбкой, почувствуешь, что ты хоть немножечко, а скрасила ей день... В этом тоже что-то есть.

Тим Девлин

У него было нервное расстройство, и он три месяца провел в больнице. С тех пор прошел год. «Мне тридцать, а я себя иногда чувствую пятидесятилетним». (Смеется.)

Сейчас у меня такая работа, что самому противно. Я дворник. Поганая должность. И работа сама по себе тяжелая. Когда я на дежурстве, то надеваю форму: серо-зеленые штаны и серая рубашка. Штаны мешком. Почти все дворники так одеваются. Раньше я думал, что это работа для черномазых, или приезжих из самой что ни на есть глуши, или беспаспортных иммигрантов. От таких людей держишься подальше. А теперь я сам такой.

«Никчемная личность» — вот кто я. Неудачник. Дойти до такого! Нас тут пятеро работает. Это муниципальные дома. Из остальных трое и по-английски почти не говорят. Иммигранты. Работают изо всех сил и не жалуются. Они очень довольны, а я нет. Это же тупик. Сегодня вечером у меня в баре встреча с двумя старыми приятелями. Мы уже давно не виделись. Мне за себя противно. Я им чтонибудь навру, Скажу, что я адвокат или еще кто-нибудь в том же роде.

Когда знакомишься с людьми, тебя обязательно спрашивают: «Чем вы занимаетесь?» Я отвечаю, что в голову придет. У них вместо мозга арифмометры. «Я дипломированный бухгалтер». А! Значит, он зарабатывает по меньшей мере восемнадцать тысяч в год. Приличный человек. Скажи я, что я электрик, они прикинули бы, что я получаю за час девять долларов. Но попробуй сказать им: «Я дворник». А-а-а-ах! И такое у тебя чувство, словно ты последний человек. Начинаешь сам на себя коситься. Кто хочет быть дворником? Их теперь даже переименовали в техников-смотрителей.

Я не стремлюсь к карьере, но я представить себе не могу, что буду этим заниматься до конца жизни. Я уже до того дошел, что готов жить на пособие. Надо бы бросить все это и просто ничего не делать. Я теперь на работу смотрю

совсем не так, как раньше. Если бы я мог спокойно сказать: «Я дворник», я бы чувствовал себя свободным. Если бы я только мог сказать: «Я Тим Девлин, и мне нравится моя работа!»

Я окончил колледж и семь лет был коммивояжером. Только-только сошел с конвейера, В жизни преуспеваешь для того, чтобы преуспеть, деньги — ключ к людям. Я себя с детства видел — большая контора, большая машина, большой дом. И я преуспевал и мог бы даже больше преуспевать.

Я влюбился, и мне казалось, что ничего прекрасней в жизни быть не может. А после свадьбы я почти сразу заметил, что мою жену... нет, я ее не осуждаю... что ее интересуют деньги. Она сравнивала меня с моими ровесниками. Сколько я зарабатываю. Я начал работать сверхурочно. И у меня появилось такое чувство, что я просто машина. А в конце недели меня так и тянуло сказать: «Вот деньги. Теперь ты меня любишь? Я лучше их?»

Я продавал светокопировальные аппараты ценой в тысячу двести пятьдесят долларов. Из них триста долларов — мои комиссионные. А себестоимость машины — четыреста восемьдесят долларов. И я начал думать: что-то тут не так, черт побери! Если она стоит четыреста восемьдесят, так почему ее нельзя продавать за четыреста восемьдесят? Почему надо добиваться максимума прибыли, а не минимума? Я ищу утопическое общество, а? Нет, я собой не горжусь.

Я был старательным. Читал всякие руководства. Если клиент качнет так, вы ответите эдак. Обработайте его, зажмите в кулак и — хоп! — заставьте его расписаться на нужной строчке. Врите ему что хотите. Втирайте ему очки, гните свою линию, и он подпишет, никуда не денется. Ура! Раунд за вами. Назавтра новый раунд. Какого черта? Чем я, собственно, занимаюсь? Мне же это не нравится. С женой все разлаживается. Я хорошо зарабатываю, у меня машина за счет фирмы Моей жене только этого и надо, а у меня на душе скверно. Я начинаю задавать себе вопросы. На этом мой брак и кончился.

Я об этом никогда ни с кем не разговариваю. Люди ведь подумают, что я коммунист или спятил. Человек, который гребет деньги, не должен ставить под вопрос их источник. Я об этом помалкивал. Ведь это же Великая Американская Мечта. Это мне в голову вбил отец.

Такому взгляду на вещи я научился от отца. Он все время изыскивал новые способы загрести побольше денег. Ему не хотелось до конца жизни оставаться торговцем. Он все время пытался завести свое дело, открыть контору. И терял все, что зарабатывал, до последнего гроша. Он верил в Американскую Мечту. А надо бы получше разобраться, что это за мечта. Если я продам аппарат ценой в четыреста восемьдесят долларов за тысячу двести пятьдесят, это и есть Великая Американская Мечта?

Развод на меня сильно подействовал. Я пережил настоящий кризис. Винил систему, винил страну, винил бога. Отсюда и нервное расстройство. Просто мне стало на все наплевать. Я никого не хотел видеть. Не желаю я слышать, как мне сообщают: «Да, через неделю меня назначат управляющим филиала». Замечательно! Да пусть его сделают хоть президентом Соединенных Штатов, мне-то что? Я стал циником. И это всегда при мне.

Когда я был коммивояжером, мои приятели глядели на меня снизу вверх. Один работал в пекарне, другой водил фургон — доставлял на дом продукты.



Они думали: «Может, и мне стоило бы?» Коммивояжер! Ходишь в костюме, едешь в машине фирмы. Теперь их называют ответственными за расчеты. Может, водитель городского автобуса зарабатывает больше, но зато на тебе белая рубашка, галстук... Все мои сестры замужем за белыми рубашками.

Многие люди слынут неудачниками, но они же не виноваты. Я сам не знаю, чем бы я хотел заняться. Только не эти крысиные гонки. Опять то же самое? Мне предлагали вернуться — быть очковтирателем высшего класса. Но с меня хватит. По-моему, я упустил свою возможность. Если бы мне дали начать жизнь сначала, я бы, наверное, занялся психологией, чтобы узнать, чем люди живы на самом деле. Мне бы очень хотелось узнать, почему люди верят, будто преуспеть в финансовом отношении так уж важно.

Нет, я хотел бы преуспеть в финансовом отношении. Но мне открыт только один путь — опять стать коммивояжером. А мне уже не двадцать лет. Господи, да мне бы пришлось начать со ста двадцати пяти долларов в неделю. А разве это деньги? Только чтобы не остаться без крыши над головой. Если гладить начальство по шерстке, через десять лет я мог бы стать заместителем управляющего и получить всякие другие пышные наименования. Боюсь, другого мне ничего не остается. Куплю акции, женюсь во второй раз и стану частью системы. Но система-то остается для меня под вопросом.

Бретт Хаузер

Ему семнадцать. Он был подносчиком в магазине самообслуживания в уважаемом пригороде Лос-Анджелеса. «Люди подходят к прилавку, а ты укладываешь их покупки в корзину и относишь к машине. Та еще работка».

Становишься жутко угодливым: «Сударыня, разрешите, я помогу вам с корзиной?», «Позвольте, я вам помогу». Как раз тогда бастующие сборщики винограда раздавали свои листовки. Они держались очень достойно. А покупатель подходит к контролю и говорит: «Вот в первый раз купил-таки винограду — и все из-за этих идиотов у дверей». А я должен укладывать их виноград в корзину, и благодарить за покупку, и провожать к машине. Очень меня злило, что приходится им прислуживать.

У компании таких магазинов много — целые комбинаты с пекарнями, и повсюду динамики, а из них музыка льется, чтобы покупатели расслабились. Чего только не прокручивали — и отрывки из «Волос», и «Гуантанамеру» — кубинскую революционную песню. И какверовекая «Душа на льду» в продаже. Все очень мило, просто чудесно. А покупатели на музыку ноль внимания. Выбирают, что бы еще купить, шлепают своих ребятишек, разговаривают про этих идиотов, которые раздают листовки против винограда.

Все выглядит таким свежим и нарядным. И в голову не придет, что в подсобке воняет, все кругом ящиками заставлено, а стены черт знает в каком виде. Все исписаны разными словами, а рабочие ругаются и кричат друг на друга. Но стоит пройти за дверь — тут тебе и музыка, и все блестит. Говоришь вполголоса, вежливо и почтительно.

Мы носим планку с именем и фамилией. Я как-то увидел человека, с которым был знаком много лет назад. Вспомнил его фамилию и говорю: «Здравствуйте, мистер Касл». Ну, мы потолковали с ним о том о сем. А когда прощались, он сказал: «Рад был тебя повидать, Бретт». И так мне приятно

стало, что он меня помнит. Но тут поглядел я на сбою планку. Ах, ты, думаю, ведь вовсе он меня и не помнит, а просто прочел на планке мое имя. Надо было бы написать на ней «Ирвинг». Он бы сказал: «Ну конечно, Ирвинг, я тебя прекрасно помню». Уж я бы знал, что ему ответить. Тут полная обезличенность.

Со всеми будь почтителен — с покупателями, с заведующим отделом, с кассирами. На кассе висят наставления; улыбайся покупателю, здоровайся с покупателем. Считается, что раз ты подносчик, то только потому, что мечтаешь когда-нибудь стать заведующим отделом. Ну, и постигаешь всякие мелочи, которые тебе совсем не интересны.

Тут главная цель — стать заместителем заведующего, а потом и заведующим. Кассиры-мужчины тоже мечтают стать заведующими. Ничего себе иерархия! Им интересно смотреть, как молоко разливается по пакетам. У каждого заведующего своя область. Заведующий мороженым, заведующий бакалеей, заведующий молочными продуктами. В подсобке висит плакат: «Делай свое дело хорошо — и тебе будет хорошо». Ну, вот и принимаешь к сердцу, хорошо ли расфасовано мороженое. А если что-нибудь с полки свалится, так это уж смерти подобно. Столько там всякой такой дряни, что я не выдержал. Там еще подносчиками работали один черный, один желтокожий и парень с тexasским выговором. Им жить надо было. А я мог себе позволить такую роскошь — уйти, когда мне эта лавочка опротивела.

Когда я начинал, заведующий меня предупредил: «Подстригись. Приходи в белой рубашке с галстуком и в черных ботинках. Смотри не опоздай». Ну, я пришел, а его нет. Я стою и не знаю, что мне Делать. Кассирша оборачивается и спрашивает: «Новенький? Как тебя зовут?» — «Бретт». — «А меня Пегги». И больше они ничего не объясняют, только командуют: «Сюда не клади! Вон туда!» А помочь не помогут.

Следи, чтобы фартук у тебя был белоснежный. На барьер не облакачивайся. С кассирами не разговаривай. Чаевых не бери. Вот я вынес покупки и уложил их в машину. Что почти всякий сделает? Возьмет из кошелька двадцать пять центов и протянет их мне. Я говорю: «Извините, запрещено». А они обижаются. Ведь когда даешь чаевые, чувствуешь себя аристократом. Достает монету, вкладываешь ему в руку и ждешь, что он скажет: «Большое спасибо». Ну, а когда приходится говорить: «Извините, запрещено», им это неприятно. Они говорят: «Но никто же не узнает» — и суют монету тебе в карман. Ты говоришь: «Да правда же, нельзя». Прямо хоть дерись с ними. А как это согласовать с магазинной философией вежливости и услужливости? Ведь покупатель хочет, чтобы ты взял чаевые, а спорить с ним невежливо. Я никак не мог разобраться в этом противоречии. Одна покупательница опустила мне монету в карман и сразу уехала. Что же мне было делать? Швырнуть четвертак ей в окошко, проглотить его или что?

Когда наплыва нет, кассиры рассказывают всякие смешные происшествия. Про нас и про них. Мы — это те, кто тут работает, а Они — это всякие дураки, которые ни в чем не разбираются, а просто приходят, все перепутывают и делают покупки. Мы их обслуживаем, но любви к ним не питаем. Мы знаем, где что лежит. Мы знаем, когда магазин закрывается, а они нет. Мы знаем, что делают с купонами, а они нет. Это своего рода товарищеская спайка. Но только поганенькая. За счет других.

Например, один кассир просто исходил злобой. Он просто упивался возможностью превратить всякий пустяк в критическую проблему, — чтобы победоносно ее разрешить. Покупательница отдает ему купон, а он брюзжит: «Вы обязаны были отдать его мне сначала». Она говорит: «Извините, пожалуйста». А он продолжает: «Теперь мне придется открывать кассу и проверять все с самого начала. Сударыня, я не могу следить за каждым покупателем. Вы сами за себя отвечаете». Что угодно, лишь бы уязвить человека.

Когда я по ошибке, клял в корзину что-то не то, меня это не волновало. Если брать по большому счету, в мировом разрезе, так банка собачьих галет не в той корзине — это такая уж мелочь! Но только не для них.

Попадались среди кассиров и неплохие. Одна была такая грустная! Тоже иногда взъедалась, но она хоть разговаривала по-человечески. Ей по настоящему нравилось разговаривать с людьми, а это не часто встречается. Она все повторяла, как бы ей хотелось поступить на учительские курсы. Ее спрашивали. «Так чего же вы не поступаете?» А она отвечает; «Я ведь работаю. И как раз в эти часы. Мне пришлось бы менять часы работы». А ей говорят: «Ну, так поменяли бы». Она работала там много лет, и стаж у нее был. Она говорит: «Джим не позволит». Джим — это заведующий. Ему то плевать было. Ей хотелось учиться, а потом самой учить, но она не могла, потому что каждый день должна была идти в магазин считать чужие покупки. Но она не озлобилась. Если ей так и предстоит умереть кассиршей, не обогатив своей жизни, — что поделывать, такие уж у нее рабочие часы.

Она всегда . впадала в крайности — и когда бранилась, и когда сочувствовала. Я как-то разлил виноградный сок, и она раскудахталась. Я сходил за тряпкой и начал подтирать. А она твердит: «Не переживай. Это с любимым из нас может случиться». И объясняет покупательницам: «Да если бы я по десять центов получала за сок, который разлила за свою жизнь...»

Джим там самый главный. Руку тебе пожимает, словно рыбу в нее сует. Ему уже за сорок, а голова в затылках. Большинство заведующих — молодые люди, которым и тридцати нет, бритые, аккуратно подстриженные. А Джим все больше довоенные жаргонные словечки употребляет, вроде «железно», которые давно уже не в ходу. Каждые два часа подносчикам положен десятиминутный перерыв. Я его ждал — дожждаться не мог. Можно выйти из зала, снять ботинки, почувствовать себя человеком. Но прежде надо спросить разрешения. А они позволяют, но так, что ты себя виноватым чувствуешь.

Подойдешь и спросишь: «Джим, можно я возьму перерыв?» А он отвечает: «Перерыв? Ну, бери, только экспрессом на девять с половиной минут». Ха-ха-ха. Как-то я спросил у его заместителя, у Гекри, он еще старше Джима: «Я возьму перерыв?» А он говорит: «А ты бы сделал перерыв между перерывами». Ха-ха-ха. Даже и шутят так, чтобы уязвить.

Те, кто раскладывает товар по полкам, считаются чином выше подносчиков. Ну, как выпускники в военном училище. Уж они всю следят, чтобы ты каждое правило выполнял — потому что сами прежде были подносчиками. Они знают все твои трудности. Но вместо того, чтобы помочь тебе, еще от себя добавляют. Ну, прямо военное училище.

А другие подносчики мне прохода не давали: «Джим с тобой про твои волосы говорил? Ну, так еще поговорит — гляди, как ты оброс. Подстригся бы

ты, что ли, или припомадил бы их». И все с таким удовольствием. Джим еще ничего не сказал, а они уже тут как тут. Все там стараются уязвить кого могут...

### Бейб Секоли

Она. работает кассиром в магазине самообслуживания уже почти тридцать лет. «Я начала работать с двенадцати лет — в бакалейной лавочке напротив нашего дома. Кассовых аппаратов там не было. Я просто писала цену на пакетах.

Когда я кончила школу, то в секретарши идти не захотела. Мне нравилось работать в продовольственном магазине. Очень интересная работа для молоденькой девчушки. Я просто увлеклась. Ни о каких других профессиях я представления не имею. Нелегкая работа, но мне она нравится. Это же вся моя жизнь».

Мы тут продаем все, что душе угодно. Миллионы всяких пакетов и банок. От картофельной соломки и кукурузных хлопьев... у нас даже есть настоящая жемчужинка в банке с устрицами. Два с чем-то банка. Улитки в раковинах, чтобы подать на праздничный стол. Есть даже такие деликатесы, о каких я раньше и не слышала. Я знаю все их цены. Иногда заведующий спросит меня, а я так и отбарабаню. Чего бы вы ни спросили, у нас это найдется.

Цены заучиваешь наизусть. Это как-то само собой получается. Я знаю: полгаллона молока стоит шестьдесят четыре цента, а галлон — доллар десять. Глядишь на этикетки. Маленькая банка горошка — «Рэгеди Энн». Ну, а «Грин Джайнт» на пару центов дороже. Я помню: «Грин Джайнт» — восемнадцать центов, а «Рэгеди Энн» — четырнадцать. А «Дель-Монте» — двадцать два. Но последнее время цены без конца скачут. Два дня назад маргарин стоил сорок три цента. А сегодня — сорок девять. И теперь, когда я вижу «Империял», я пробиваю сорок девять центов. Запоминаешь, и все. На кассе есть список цен, но это для временных. Я в него даже не заглядываю.

Мне на кнопки моей кассы тоже смотреть не надо. Я ее знаю, как секретарша — свою пишущую машинку. На ощупь. Она мне точно по руке. На девятке — средний палец. Большой палец бьет единицу, двойку, тройку и дальше вверх. Ребро ладони нажимает на рычаг общей суммы, ну, и так далее.

Я пользуюсь тремя пальцами — большим, указательным и средним. Правой руки. А левая — на покупках. Они выкладывают свои покупки. Я жму бедром, и пакеты продвигаются по прилавку. Когда их передо мной в самый раз, я перестаю нажимать. Я все время в движении — бедро, рука, касса, бедро, рука, касса. (Она показывает, как это получается — ее руки и бедра движутся, словно ока танцует какой-то восточный танец.) Надо только поймать темп — раз-два, раз-два. Если вступишь в ритм, значит, дело спорится. Стоишь на всей подошве, а голову поворачиваешь вправо-влево.

Покупательница тебя о чем-то спрашивает. Если снять руку с покупки, обязательно собьешься и спутаешь, за что выбиваешь. Тут важно чувствовать. Когда я выбиваю, рука у меня всегда на покупках. Если кто-нибудь перебьет, спросит, что сколько стоит, я отвечаю, не замедляя движения. Слоз-но на рояле играешь.

Я восемь часов в день провожу на ногах. Стоять, конечно, утомительно. Но когда я прихожу домой, то чувствую себя обновленной. Я не от этого устаю, а от того, что надо следить, не ворует ли кто. А воровства много. Я как увижу такую воровку, сразу готовлюсь принять меры.

Заведующий меня спрашивает, как я догадываюсь. А я вижу по движению их рук. Как они сумочку держат, и корзину, и как стоят. С первого взгляда можно понять. Я до сих пор еще ни разу не ошиблась.

В магазинах самые, казалось бы, приличные люди крадут. И не потому, что нуждаются. Очень приличные люди, и живут в районе Лейк-Шор-Драйв. Каждый день — и мужчины, и женщины. Последнее время, правда, еще эти хиппи появились, которым лишь бы день прожить...

Глазное — мясо. Приходят с большими сумками. Как раз на прошлой неделе я поймала одну такую женщину — с двумя пачками вырезки в сумке. На десять долларов. Она подходит к кассе, а я очень вежливо спрашиваю: «Не хотите ли заплатить за что-то еще, чтобы мне не ставить вас в неловкое положение?» Заведующий стоял неподалеку, и я его подозвала. Она посмотрела на меня нахально так. Я говорю: «Я знаю, у вас в сумочке вырезка. Так пока никто не видел, вы либо заплатите, либо положите на место». Она нос задрала, но тут заведующий спросил: «Зачем вы взяли мясо?» Ну, она и заплатила.

Никто ничего не заметил. Я говорю очень вежливо. И заведующий держится мягко. Конечно, если они начинают скандалить, он повышает голос, чтобы их припугнуть. И просит больше в магазин не приходите.

Я знаю одного такого — берет бритвенные лезвия. Одет очень прилично, и лет ему за шестьдесят. Лезвия ему нужны как собаке пятая нога. Я за ним слежу, и он это знает, так что к лезвиям и не подходит. Все больше такие мелочи. Злятся на кого-то, ну, и срывают злобу таким способом.

Одна покупательница нас просто умоляла — говорила, что хочет по-прежнему к нам ходить, не то ее муж узнает. Заведующий сказал, что за ней теперь во всех отделах будут строго наблюдать. Но это просто чтобы ее припугнуть. Пожилая такая женщина. А мне бы стыдно было снова приходиться в магазин, где про меня такое знают. Только сейчас это, наверное, обычное дело, куда ни пойдешь. Таких людей жалко. Я им сочувствую.

Дома у меня обожают такие истории: «Что сегодня приключилось?» (Смеется.) Ну, это про ту, с вырезкой в сумочке. И вырезка-то эта ей нужна как собаке пятая нога.

Некоторые расстраиваются и сердятся из-за цен и начинают ругать меня. А я гляжу на них, и все. Надо разбираться, где тут причина. Я молчу, а то ведь не успеешь оглянуться — и пойдет перепалка. Покупатель ведь всегда прав. Неужто она не понимает, что я покупаю те же продукты. И плачу те же деньги, без всяких скидок. Те, кого поймаешь на воровстве, спрашивают: «Неужели вам ничего не нужно?» Нет, мне нужно, и я весь день на ногах, и у меня расширение вен. Но я не пытаюсь выйти отсюда с сумочкой, набитой вырезкой. Когда мне нужен бифштекс, я его покупаю.

Ноги у меня гго временам очень болят. Когда я в восемнадцать лет надевала купальный костюм, у меня не ноги были, а прямо-таки карта какая-то. Оттого, что я все время стояла. И обувь была неудобная. Теперь я ношу

туфли с супинатором, такие, как сиделки в больницах. В них ноги не так болят, и это уже хорошо. Иногда я до того устаю за день, что не могу спать. И ноги ноют, точно я не лежу в кровати, а все еще стою.

Свою работу я люблю. И с заведующими мне везет. Наш заведующий черный и просто прелесть что за человек. Пока ты работаешь как следует, они не вмешиваются. А заработная плата прямо потрясающая. И повышается автоматически благодаря профсоюзу. Профсоюз работников розничной торговли. У меня такой стаж, что я хоть сейчас могла бы уйти на пенсию. И заработная плата у меня максимальная. Всего в неделю я получаю сто восемьдесят девять долларов. И пенсия у майя будет почти пятьсот долларов в месяц. Это все профсоюз. По высшим ставкам. Меня все представители по имени знают. Молодежь даже не задумывается, сколько для нас сделал профсоюз.

Порой мне кажется, что этим девчонкам переплачивают. Они не делают того, что обязаны. Девочки, которые к нам приходят, двигаются как сонные мухи. Постоянные покупатели все говорят: «Пойдем-ка к Бейб». Это потому, что я все быстро делаю. Оттого-то я так устаю, а эти девчонки по вечерам ходят на танцы. Не умеют они гордиться своей работой. А для меня это жизнь. Бывает, я прихворну и иду в магазин с таким чувством, что уж там-то мне сразу станет легче.

Только это не всегда действует. (Смеется.)

Я кассирша и горжусь этим. Есть и такие, кто скажет: «Кассирша? Фу!» А по-моему, это не хуже, чем быть учительницей или юристом. И мне не стыдно, что я хожу в форме и в туфлях с супинатором, что у меня расширение вен., Я честно зарабатываю на жизнь. Те, которые глядят на меня сверху вниз, куда хуже меня.

Меня раздражает, когда покупатели меня подгоняют: «Да побыстрее же!» или «Поскорее считайте!» По-моему, это некрасиво. Подождите, и я вас обслужу со всем вниманием. А поспешите, так себя же задержите. Вот, например, вчера я пробивала два больших заказа, а она говорит: «Я через десять минут должна быть в другом месте. Считайте быстрее». Я не терплю, когда со мной так разговаривают, и никакая другая кассирша не потерпит.

Я ведь тоже человек. Я тут на работе. А они иногда унижают меня. Даже выражаются. Тогда я все бросаю и иду за заведующим. Я никому не позволю называть себя (прикрывает рот ладонью и шепчет) стервой. Это все богатые люди — словно я их экономка или горничная. Да и с горничными так не разговаривают.

Бывает, я делаю ошибки. Я ведь не арифмометр. Но я извиняюсь. Я сразу же замечаю и говорю покупателю: «Тут я выбила на два цента больше, так теперь я вычитаю». А потому мои покупатели за мной не следят, когда я подвожу итог. Они мне доверяют. Но сегодня утром была у меня одна... Я ей говорю: «Как поживаете?» — вот и весь наш разговор. Она мне говорит: «Погодите. Я хочу вас проверить».

Я даже глазом не моргнула. Точно ее и нет тут вовсе, точно я ее не слышу. А она начинает скандалить. Ну, я говорю: «Прекратите. Я дам вам чек, когда кончу. Если окажутся ошибки, я их исправлю». Ну, люди... я таких не

понимаю. И мне некогда разбираться с их пустяками, потому что следующий покупатель тоже торопится...

Мне бывает очень обидно, когда мне не доверяют. Да и зачем мне их обсчитывать? Все равно это не мне в карман идет. Ну, ошибешься случайно, а тебя воровкой называют, мошенницей. А я в жизни чужого не присвоила.

Иногда мне кровь в голову бросается, я вся красная делаюсь от обиды и чувствую себя совсем разбитой. Дома мои сразу замечают и переглядываются: «Не надо с ней заговаривать, у нее был тяжелый день». И спрашивают: «Что случилось?» Я погляжу на них и начинаю смеяться — ведь хуже нет как тащить работу к себе домой. Уходишь из магазина и все неприятности оставляешь там. А домашние — оставляешь дома. И все-таки случаются дни, когда просто сил никаких не хватает. Но потом все сглаживается.

Больше трех раз ошибиться нельзя. После этого у тебя вычитают из заработной платы. И правильно делают. Нельзя же каждую неделю просчитываться на десять долларов. Это подозрительно. Ерунда какая! Если покупатель недоплатил десять долларов, это твоя вина. Для того-то кассовые аппараты и показывают всю сумму. Не надо останавливаться и пересчитывать, Я таких ошибок никогда не делаю. Обычно это случается с девчонками.

Прежде атмосфера была более дружеской, более приятной. А теперь все время словно какое-то напряжение ощущается. Напряжение в магазине. Едва войдешь и сразу это замечаешь. Все словно враги. Все рвутся вперед. «Я была первой». Теперь уже некогда говорить: «Здравствуйте, как поживаете?» Наверное, все дело в том, как теперь живут люди. Скорее, скорее, скорее, и отталкивают друг друга. По-моему, они только скорее в могилу попадут. Торопыги эти.

А толчея тут! Пихают друг друга тележками. Кое-кто и нарочно. Иногда я что-нибудь покупаю, так меня то и дело толкают тележками. Ударит по лодыжке, и сразу синяк. И знаете, кто обычно это проделывает? Старики, которые ходят за покупками. Уж эти мне старики! Ужас что такое — так и бьют тебя по ногам. Иногда подойдешь к такому, тронешь его за плечо и спросишь: «Зачем вы так?» А они смеются тебе прямо в лицо. Это в них ненависть сидит. Они очень озлоблены. И ненавидят тебя. А может, день выдался неудачный, и они ищут, на ком бы сорвать злобу, ну и толкают тебя тележкой. Просто смешно.

Я знаю, что многие люди очень одиноки. У них нет никого близких. Положат в тележку одну-две покупки, а ходят по магазину добрый час. Смотрят по сторонам, заговаривают с другими людьми. Рассказывают, как они себя чувствуют, что сегодня делали. Просто им надо с кем-то этим поделиться, то есть старикам. А молодые куда-то летят сломя голову — только посмотрят, а разговаривать им некогда.

У нас есть маленький кофейный зал, где можно выпить кофе бесплатно. Почти все забегают туда на минутку — выпьют кофе и уходят. А вот одна старушка — ей некуда идти. Так она сидит там у окна часами. Пройдет по залу и опять туда. Я узнала, что она совсем одинока, старушка эта, Ни детей, ни родных. Никого. Из-за своей кассы я много чего вижу. Я даже не представляю, как бы я работала на фабрике. Я бы чувствовала себя точно в тюрьме. А тут я могу в окно поглядеть, какая сегодня погода. Захочется

глотнуть свежего воздуха — подойдешь к двери, подышишь и вернешься. Я утром всегда прихожу за сорок пять минут. И ни разу не опоздала, если не считать того знаменитого снегопада. И никогда не думала о том, чтобы сменить работу.

Два дня не работаешь, и уже тоскливо становится. Вот ждешь не дожدهшься отпуска, а стоит уехать, и уже через три дня я места себе не нахожу. Не умею я сидеть сложа руки. Мне надо все время что-то делать. И уже мечтаешь вернуться на работу. Чудесное это чувство. Просто замечательное.

Нино Гуидичи

Мы — за прилавком аптеки на углу. Район очень неоднородный. К востоку расположены кварталы, где живут преимущественно богатые люди. С запада подступают кварталы бедноты. По разделяющей их магистрали снуют главным образом молодые люди. «Даже не верится, что я провел на этой улице сорок лет». Он получил диплом провизора в 1928 году. Ему семьдесят лет.

В шкафах за прилавком хранятся тысяча флаконов, расставленных по названиям крупнейших фармацевтических фирм. «Одних таблеток существует что-то между пятью и семью с половиной тысячами. Когда я запутываюсь — в прежние времена этого со мной не случалось,— мы справляемся по Красной книге. В ней перечислены все названия и указано, кто изготавливает такое-то средство и сколько оно стоит».

Аптеки на углу скоро соизедем исчезнут. Небольшие аптеки себя больше не оправдывают. Не справляются. В прежние времена на провизора смотрели как на врача. Кто теперь зайдет в аптеку и скажет: «У меня стреляет в ухе. Что вы порекомендуете?» Или: «Моя дочка простудилась»? Да никто. А клиенты остались такими же, как были, когда я начинал. Вроде человека, который сейчас заглянул сюда. Ему нужна вечерняя газета. Он сказал: «Не забудьте отложить мне газетку». Он наш постоянный клиент. И я скорее забуду приготовить заказанное лекарство, чем его газету. Наверное, большая ошибка, что это для меня все еще важно.

Мы теперь только отсчитываем таблетки. Отсчитаешь двенадцать штук, уложишь, отсчитаешь еще двенадцать... Нынче день особенный — я составил мазь. Почти все мази поступают ко мне готовыми. Ну, а этот доктор — старой закалки. Ему понадобилась особая серная мазь еще с двумя ингредиентами. Так что пришлось мне отвешивать на весах. А обычно достаешь тюбик, и все.

Прежде у врачей были свои формулы, и мы почти все делали сами. А теперь этим занимаются лаборатории. Настоящих провизоров надо теперь искать в фармацевтических фирмах. Они и фабричные рабочие, и фармацевты. А нам сообщают только названия лекарства, дозу и показания. Так много проще. Прежде за день приготишь собственноручно двадцать — двадцать пять лекарств. А теперь проще. Прежде двадцать—двадцать пять рецептов в день было уже много. А теперь их сто пятьдесят в день пропускаешь. В такое время года все больше антибиотики идут, потому что люди часто простужаются.

Прежде мы пользовались самыми простыми лекарственными средствами и основы мазей были самые простые — вазелин, ланолин и их смеси. Такими



свойствами, как нынешние, они не обладали. Сейчас ты просто расфасовщик. (Смеется.) Нет, я провизоров вовсе не принижаю, но теперь фармакология настолько развилась,.. Мы только дозы отмеряем.

Мне так больше нравится. Если делать все самому, да чтобы врачу приходилось выписывать рецепт со всеми ингредиентами — при нынешней экономике ты так вообще не просуществуешь. Теперь все ускорилось, и это лучше. Тогда медицина приносила людям куда меньше облегчения, чем теперь.

«Когда я учился в фармацевтическом училище, курс был всего двухгодичный. А теперешняя молодежь учится шесть лет. В мое время мы изучали только основные металлы и соли. Тебе было известно, что такие-то соли помогают от кашля. Растворить их в дистиллированной воде — и лекарство готово. Теперь химию изучают куда глубже. Нынешние выпускники куда нас образованнее. Они подготовлены для работы в фармацевтической промышленности. Нынешние школьники и те наловчились изготавливать такое, о чем я и представления не имею. (Смеется.) АСД и прочее. Эти ребята куда больше меня знают о том, как изготавливаются опасные наркотики». (Смеется.)

Когда я только начинал, специальных лекарств для детей старше семи-восьми лет почти не было. Никаких мазей для подростков с угрями, например. Нынче стоит у ребенка вскочить прыщiku, и его сразу посылают к кожному. Мы таких мазей продаем очень много. И косметики продаем куда больше, чем раньше. В прошлые дни косметика составляла самую незначительную часть оборота. А теперь на нее приходится пятьдесят процентов, если не больше. Изготовление по рецептам покрывает примерно двадцать процентов. Остальное — ручная продажа: человек приходит и покупает, что ему требуется.

Вот приходит человек, но я ему побоюсь руку промыть, разве что хорошо его знаю. «Обратитесь к врачу», — вот что мы должны отвечать по закону. А у него, может, тридцати пяти центов за душой нет. Тут один мясник перерубил себе артерию. Кровь так и хлещет, а я буду отсылать его к врачу? Да он бы истек кровью. Ну, я заткнул рану ветошью. А он еще чуть-чуть — и умер бы. Но обошлось. Возможно, я ему жизнь спас, только этого как-то не замечают. Ну, а умри он у нас в задней комнате? А потом, убеждаешь их пойти сделать прививку от столбняка. Только в девяти случаях из десяти у них на это просто денег нет. Я и из глаз всякие соринки вытаскивал. У меня это хорошо получается. А друзья мне говорят: «Ты совсем сумасшедший».

Входит Грейс Джонсон, его сослуживица, и надевает белый халат. Она работает провизором уже тридцать лет. «На моем курсе девушек было только трое, а мужчин триста шестьдесят, По купатели-мужчины всегда терялись при виде меня. Я сразу догадывалась, что им нужно, — по тому, как они старались ко мне не обращаться. (Смеется.) Я начинала работать в аптеке у отца и, бывало, сижу смешиваю что-нибудь в задней комнате, а он меня позовет, и едва я войду, как всех мужчин точно ветром сдует. Словно я двухголовое чудище. Женщины, те ко мне обращались очень охотно.

Стоит мне сказать, что я провизор, — оооо! «Ах, как замечательно!» «Какая вы, наверное, умная». Женщина-провизор! Почти как женщина-врач. Но мне кажется, провизоров ценят куда меньше, чем они того заслуживают, и не

замечают, что мы ведь посредники между пациентом и врачом. Если врач ошибется, а мы не заметили, то в суд больной подает на нас. Врачам они иска не предъявляют, потому что те стоят друг за друга.

Самое большое изменение за тридцать лет — это обилие товаров. У нас сейчас такой огромный ассортимент! Ну, кто слышал, чтобы в аптеке продавались радиоприемники? (Смеется.) И кто слышал о тысячах и тысячах всяких новоявленных средств? Один знакомый провизор как-то сказал мне, что случись в этом районе ночью атомный взрыв, так никто бы даже не заметил (смеется), потому что девяносто девять процентов окрестных жителей принимают секонал или нембутал, верно? Глотают таблетки горстями, нужны они им или нет. Чуть ли не каждый человек что-нибудь да принимает. И у всех нервы не в порядке из-за напряжения, в котором мы живем».

Я люблю работать. (Смеется.) Мне нравится быть на людях. Я мог бы уйти на пенсию пять лет назад. Нет, дома у меня хорошо, да ведь скучно сидеть и ничего не делать. Если учесть, какие я плачу налоги и какие пособия могу получить, так я, если оставляю работу, буду обеспечен почти так же. Но мне нравится приходить сюда. Не то чтобы я так уж любил людей, но без них чего-то не хватает. Иной раз приходишь домой и говоришь: «Ну и денек выдался! От них с ума сойти можно!», и то-то случилось, и то-то. Мне это нравится. Когда ты никого не видишь и ни с кем не разговариваешь...

Вмешивается Джефф, управляющий, ему тридцать лет: «Я еще не встречал человека, который не радовался бы, если можно не работать. Кроме Нино».

Для многих людей работа — это мученье. Но не для меня. Не скажу, чтобы я так уж любил работать, но никакого отвращения я тоже не испытываю. Самое для меня нормальное состояние — куда нормальнее, чем сидеть ничего не делая. Вроде бы я все-таки нужен, Не выйдешь на работу, а у кого-то день не заладится. Если я пойду на часок пройтись, мне приятно будет услышать: «Куда это вы запропалились? Дел невпроворот. Вы мне вот как были нужны!» Кое-кто назовет это нахлобучкой и разозлится. Ну, а я не так. Если придешь, а тебе вдруг скажут: «Мы и без вас спокойно управились», значит, пора вообще уходить.

Мне нравится чувствовать, что я нужен. Это ведь приятно. Значит, и ты чего-то стоишь.

Многие так и ждут, чтобы им стукнуло шестьдесят пять,— просто рвутся уйти на пенсию. Радуются уж не знаю как. А чего радоваться? Будут сидеть дома, а я видывал немало женщин, которые сердятся, что муж все время околачивается дома и мешает. Обыкновенный человек вроде меня, он себя дома хорошо чувствует, когда возвращается туда после работы. Теперь я уж не способен работать в прежнюю силу. Вот почему приятно чувствовать, что ты еще нужен.

«Я начал работать в аптеке в двенадцать лет». Он тогда жил в маленьком городке на юге Иллинойса. Его отец, каменотес, умер, когда он был совсем малышом. «Я отпирал аптеку, подметал тротуар перед дверью, мыл полы». В Чикаго он учился в фармацевтическом училище, а по вечерам работал. «Я видел, как трудился мой отец и фермеры, как надрывались шахтеры за несколько долларов в неделю. А я получал такие же деньги только за то, что

стоял и ждал, кому бы услужить, сказать «здравствуйте». Мне казалось, что эти деньги достаются мне даром».

Я никогда не стремился завести собственную аптеку. У меня не раз была такая возможность, но я не торопился и все взвешивал. Надо ведь будет платить проценты. Один я справлюсь с работой не смогу, а я не желал, чтобы моя жена работала по двенадцать часов в день. Многим моим знакомым помогали жены — трудились не покладая рук, и чего-то им достигнуть удалось. Ну, и очень хорошо. Только у меня другие взгляды.

Ну, а самостоятельности мне хватало. Я бывал и управляющим. Девушкам, торговавшим содовой, я платил по пять-шесть долларов в неделю. Это для начала. Я такой человек, что не могу, чтобы на меня работали даром. А добиться чего-то можно, только если не сентиментальничать. Не поймите меня превратно, я вовсе не говорю, что всякий, кто чего-то добился, непременно подлец, но ведь обязательно приходится чем-то поступаться, а я давным-давно понял, что это не для меня. Не то чтобы я уж такой хороший человек. Во все нет, но мне не нравится требовать от других того, чего я сам делать не хочу.

«У меня среди постоянных покупателей много цветных, которые работают на этой улице. Они говорят; «А знаете, почему я покупаю у вас? В нашем районе нас, в аптеках просто грабят». И это правда, Я когда-то работал в таком квартале. Я по опыту знаю, что они там не стесняются брать с бедняков лишние деньги».

Я всегда знал, что миллионером мне не быть. Чтобы разбогатеть, надо, чтобы тебя честолюбие подхлестывало. Ну, а мне,.. Если за квартиру заплачено, если я сыт, могу сходить на бейсбол, на скачки и куда-нибудь сводить мою старуху, если все счета оплачены — так что еще человеку требуется? Мне нужно столько денег, что-бы не стать бездомным бродягой и чтобы не отнимать у человека под пистолетом последний доллар. До того приятно сознавать, что вот ты зарабатываешь столько, сколько тебе нужно на жизнь. Такое мое мнение. Может, оно глупо, как сто тысяч долларов — а ничего глупее ста тысяч долларов и придумать невозможно,— и все-таки это мое мнение.

Мне никогда не хотелось разбогатеть. Я знаю, это звучит глупо. Один мой приятель говорит: «Я другого такого, как ты, в жизни не видел, который так презирал бы деньги». Это неправда. Я ничего против денег не имею. Я знаю, что без них не проживешь. Но сколько их нужно? У меня есть младший брат. Вот у него настойчивости хоть отбавляй. И денег у него гораздо больше, чем у меня. Не то чтобы я ленив, а то, что называется созерцательная натура.

По-моему, я в жизни преуспел. Если я больше не буду нужен, так и на пенсии найду чем заняться. Буду смотреть бейсбол, ходить на скачки, рыбу ловить. Было в моей жизни одно время, когда я тревожился. В газетах печатали объявления: «Требуется провизор, лиц старше сорока лет просят не обращаться». Мне тогда было сорок пять. И я уже подумал, что придется уступить место молодым. Но мне повезло. Все осталось, как было.

Если бы я мог начать жизнь сначала, я бы стал врачом. Я прошел подготовительный курс. А потом подумал: нет, еще четыре года мне не выдержать. Но пожаловаться я не могу. Мне везло. Конечно, миру я ничего не дал, но ведь это мало кому удается. И только очень умным людям, таким,

которые наверняка могли бы стать миллионерами. Но они всю свою жизнь отдают просвещению. Отдают ее обществу. Для своего удовольствия они путешествовать что-то не ездят. И в светской хронике о них не прочтешь. Но есть у нас и редкостные невежды. Даже странно, что они вдруг возглавляют страну. Нелепо, верно?

Я был эгоистом, как всякий средний человек. Возможно, думал только о себе и о своих удобствах. Не надрывался, развлекался, ел и спал. Но ведь людей, которые были бы хорошими по-настоящему, очень мало, я сразу их и не назову. Я к своей работе отношусь серьезно, но ведь это совсем пустяк. Для мира она никакого значения не имеет.

Миссис Джонсон: «Ничего подобного, Нино. Вы делаете очень нужное дело. Сколько раз вы исправляли врачебные ошибки в рецептах? А уж для нашей аптеки вы даже еще и не так важны. (Поворачивается к остальным.) Его все любят. У него столько друзей среди покупателей! Они приносят своих малышей, приводят внуков, чтобы показать ему».

Джефф: «Семьдесят процентов покупателей приходят к нам только из-за Нино».

Ну, не знаю. Вы поглядите на тех людей, которые оказывают человечеству великие услуги.

Миссис Джонсон: «Нино, да вы же оказываете услуги человечеству каждый день, который проводите тут!»

(Он смущенно возводит глаза к потолку.) Нет, вы только послушайте! Ну и ну!

Постскриптум. Она заговорили о своем старом сослуживце, который недавно умер. Он неуклонно выполнял все инструкции. «И мы даже ссорились из-за того, что я соблюдал их не так строго. Придет человек и пожалуется: «У меня бессонница». Но он без рецепта ничего не даст. Ну, такой покупатель выйдет, прогуляется по улице и назад — уже ко миг, А я говорю: «Я вас знаю, вы человек надежный. Ну вот, берите парочку». Я считаю, что можно и по-человечески. И никакого греха тут нет».

Эрнест Брэдшоу

Я работаю в банке, в ревизионном отделе. В моем подчинении около двадцати человек. Мы присматриваем и за работниками других отделов, и ведем постоянную проверку документации — никаких краж и растрат у нас не должно быть. Это своего рода служба внутренней безопасности». Банк большой — около пяти тысяч служащих.

Он занимает эту должность уже год. Поступил он сюда два с половиной года назад счетоводом. «Всегда радуешься повышению. Ведь это значит — больше денег и меньше работы». (Смеется.) Ему двадцать пять лет. Он женат. Его жена — учительница. Кроме него, в отделе работают еще двое черных.

От тебя зависит, как люди живут, сколько зарабатывают. Отличная должность для тех, кому нравится работа такого рода, кому приятно властвовать над чужой жизнью. А мне вот не доставляет особого удовольствия видеть, как пятидесятилетнюю женщину выгоняют вон, потому что молодые работают лучше. Перевели с должности, а ведь ей было так хорошо.

Одни люди способны руководить, другие — нет. По-моему, я способен, но тут возникают личные чувства — у меня просто духу не хватает заявить этой женщине: «Послушайте, ставлю вам минимальное соответствие». Выгнать ее, так где она найдет работу, ведь ей пятьдесят лет? Я инспектор и добросовестно выполняю свои обязанности, Я определяю соответствие занимаемой должности так, как есть на самом деле. Мои чувства здесь ни при чем. Я делаю то, что должен делать. Но это не значит, что я не способен переживать и даже поседеть.

Сначала они мне не поверили, потому что я черный и потому что я молод. Она-то белая. Мне предложили обосновать мое заключение. Не личная ли это неприязнь? И не враждебность ли черного к белым? Я обосновал. Указал на то и на это... Тогда они сказали: все правильно. Но они поняли, что никакой радости мне это не доставляет. Они поняли, как я к этому отношусь. Я сказал им, что она прекрасный человек. А они ответили: «Личным чувствам тут места нет. Мы дадим ей пять месяцев, чтобы освоиться или подыскать себе что-нибудь другое». Ей назначили испытательный срок.

Так всегда бывает на работе. О чувствах там не говорят. Вам дается понять, что человек значения не имеет. Вы поступаете на место, вы обязуетесь работать с восьми тридцати до пяти, и никаких «если», «а» или «но». Чувства не допускаются, они тут ни при чем. Наверно, среди других инспекторов есть мягкие люди вроде меня. Но они выбирают самый легкий путь: видят, что человек работает плохо, но ставят ему средний уровень. И через полгода он получает прибавку. А если докладываешь, что он не соответствует, то никаких прибавок, и его вообще уволят. А потому все предпочитают наилегчайший выход и ставят ему «средний уровень». Так спокойнее. Но я чувствовал, что выбора нет: надо писать о человеке правду, потому что рано или поздно все так или иначе выяснится и ему же будет хуже. Для меня люди — это люди, и каждый человек — личность. Но при исполнении служебных обязанностей полагается выбрасывать это из головы.

В небольших фирмах обходятся без этого. Никаких оценок там не требуется. Все и так всех знают. А в более крупных фирмах люди превращаются в пешек. Большие корпорации имеют тенденцию расти, так что люди будут значить все меньше и меньше. Человек уже ничто. Большие корпорации ценят только доллары.

В этом конкретном случае ее можно было бы перевести в какой-нибудь филиал, где нет такой гонки. Куда-нибудь, где бы она могла не опасаться увольнения, не опасаться, что за ней следит кто-то вроде меня. Дайте ей работу по способностям, гак, чтобы она могла работать в полную силу, но не надрываясь. Зачем переводить ее туда, где требуются молодость и быстрота? Я своей работой не горжусь. Ну, ладно, пусть мне подчиняются двадцать человек. Чем здесь гордиться? Гордиться нужно, когда ты на самом верху, а не еще одна пешка. Пусть ты при этом не находишься на самой нижней ступеньке, а выше на одну. Ведь выше тебя еще пятьдесят. Так что никакого престижа эта должность в себе не несет.

А что делает человек наверху? Он председатель правления, Уж не знаю, так ли это приятно — пять тысяч человек у тебя под началом, два миллиарда долларов оборотного капитала и горстка людей, оберегающих эти деньги. Чем

они занимаются., пока тебя нет? Нет, я себе даже представить не могу, каково это — быть наверху.

После двух лет армии он некоторое время работал в конторе по продаже недвижимости. «Был управляющим, выяснял, кто из покупателей платежеспособен, кто нет. Район стал заметно хуже, и я решил, что Мне следует уйти.

Я не рассчитывал остаться здесь надолго. Думал, проработаю полгода и пойду учиться на дипломированного бухгалтера. Но тут я женился, и пришлось остаться. Сейчас я на перепутье. Я занимаюсь на вечерних курсах, но пока оставил бухгалтерское дело и прочее и взялся за гуманитарные предметы. Хочу проверить, может, какая-нибудь другая профессия мне больше понравится».

Обычно я в восемь часов уже на месте — за полчаса до начала рабочего дня. Готовлюсь, пишу программы, распределяю задания. Когда приходят сотрудники, мы их пересчитываем. Смотрим, кто опоздал, а кто нет. Проверяем, приступают ли они к работе точно в восемь тридцать или уходят в туалет и пятнадцать минут пудрят там нос. Проверяем, не растягивают ли пятнадцатиминутный перерыв до двадцати минут. Проверяем, обедают ли действительно сорок пять минут, а не час. И не ведут ли личных разговоров по банковским телефонам — это запрещено. Только и делаешь, что следишь за людьми и проверяешь. И так весь день.

Работа очень скучная. По-настоящему монотонная. Я не замечаю, как идет время. Меня оно не интересует. Увижу, что кто-то прибирает свой стол, и только тогда соображу, что уже пять. В пять я уйду на курсы. И так постоянно. Ничего хоть сколько-нибудь интересного не случается.

Только одно: следи и следи за людьми. Точно ты на фабрике, где работают роботы. Твоя обязанность — проверять, чтобы машины работали непрерывно. Если они ломаются или что-то не ладится, твое дело — снова все наладить. Ты словно мастер на конвейере: сломаются — замени. Ты словно человек, который весь день напролет следит и следит за компьютером. Никакой разницы.

Словно старший брат с тебя глаз не спускает. Все за кем-то следят. Когда повернешься и начинаешь за ними следить, выходит очень смешно. Я это часто делаю. Они знают, что я за ними слежу. И тревожатся. (Смеется.)

С человеком надо обращаться по-человечески, а не как с машиной ценой в миллион долларов. Только с людьми обходятся куда хуже, чем с компьютерами. От больших корпораций меня мутит. Это я понял, только когда меня назначили инспектором и мне стало ясно, в какие игры мы играем. Пока ты счетовод, тебе не из-за чего волноваться. Делай свою работу, и все. Приходи вовремя и уходи вовремя. Занимайся своей работой, и дело с концом.

Я тут навсегда не останусь. Работать в банке неинтересно. Я не мчусь домой поделиться радостью: «Мама, я работаю в банке! Чудесно, а?» Я все еще ищу. Тут, правда, я на одном месте не сижу. Вот уж что совсем не по мне, так это сидеть за письменным столом. И может, я найду себе такую работу, чтобы всегда быть в движении. Скажем, стану коммивояжером...

Довольно много людей задерживается после работы. Каждый день, когда я ухожу, я вижу таких, (Смеется.) Сам я устроен иначе. Эти все принадлежат к старшему поколению. И задерживаются, чтобы проверить, не осталось ли что-нибудь недоделанным. Это мне непонятно. Люди постарше способны вкладывать себя в работу целиком, у молодежи этого нет. Я что-то не могу себе представить, чтобы вернулось время, когда человек, начав где-нибудь работать, так и оставался бы там на всю жизнь. Я просто не представляю, чтобы человек прослужил в одной фирме сорок лет. Это все в прошлом.

Ведь можно поступить на трехгодичные курсы и переменить профессию, как только тебе заблагорассудится. Скажем, он счетовод и весь день корпит над бумагами. Но по вечерам он ходит на курсы программистов. Ну, и перейдет в другую фирму, где ему будут платить больше. А люди старшего поколения чуть ли не все удовлетворены своей работой и ничего другого искать не хотят.

Я поклялся, что до язвы желудка доводить себя не стану. Никакие деньги этого не стоят. Но из-за этой женщины у меня на душе было по-настоящему беспокойно. Такая приятная, тихая. Но я же обязан был это сделать — так я ей и сказал. Я объяснил, что ее все время тащили другие люди, дотягивали ее до средней оценки. Она сидела через два стола от меня, и я ей часто помогал. На прибавку ей все равно рассчитывать было нечего. По-моему, она мне была благодарна за откровенность.